



# Марсель Пруст

Под сенью девушек  
в цвету

Перевод с французского  
Николая Любимова



*ФТМ*



В поисках утраченного времени

Марсель Пруст

**Под сенью девушек в цвету**

«ФТМ»

1919

## **Пруст М.**

Под сенью девушек в цвету / М. Пруст — «ФТМ», 1919 — (В поисках утраченного времени)

Марсель Пруст – один из крупнейших французских писателей, родоначальник современной психологической прозы. Самое значимое свое произведение, цикл романов «В поисках утраченного времени», писатель создавал в течение четырнадцати лет. Каждый роман цикла – и звено в цепи всего повествования, и самостоятельное произведение. Все семь книг объединены образом рассказчика, пробуждающегося среди ночи и предающегося воспоминаниям о своей жизни. Настоящее и прошлое, созерцание и воспоминание оказываются вне времени и объединяются в единую картину, закладывая основу нового типа романа – романа «потока сознания». Второй роман цикла, рассказывающий историю превращения мальчика в юношу, принес Прусту славу и был отмечен Гонкуровской премией, высшей литературной наградой Франции.

© Пруст М., 1919

© ФТМ, 1919

# Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# Марсель Пруст

## Под сенью девушек в цвету

### Часть первая

#### Вокруг госпожи Сван

Моя мать, когда зашла речь о том, чтобы в первый раз пригласить на обед де Норпуа, выразила сожаление, что профессор Котар уехал и что она перестала бывать у Свана, а между тем оба они представляют несомненный интерес для бывшего посла, но мой отец возразил, что такой знатный гость, такой блестящий ученый, как Котар, был бы кстати на любом обеде, а вот Сван с его хвастовством, с его манерой кричать на всех перекрестках о своих даже и неважных знакомствах, – самый обыкновенный похвальбишка, которого маркиз де Норпуа, воспользовавшись своим любимым выражением, непременно назвал бы «вонючкой». Некоторые, вероятно, помнят вполне заурядного Котара и Свана, у которого в области светских отношений скромность и сдержанность были возведены в высшую степень деликатности, а потому замечание моего отца требует хотя бы краткого пояснения. Дело в том, что к «сыну Свана», к Свану – члену Джокей-клуба, к бывшему другу моих родителей, прибавился новый Сван (и, по-видимому, то была не последняя его разновидность): Сван – муж Одетты. Приноровив к невысоким духовным запросам этой женщины свойственный ему инстинкт, желания, предприимчивость, он ради того, чтобы опуститься до уровня своей спутницы жизни, умудрился создать себе положение гораздо хуже прежнего. Вот почему он казался другим человеком. Так как он (продолжая бывать один у своих друзей, которым он не желал навязывать Одетту, раз они сами не настаивали на знакомстве с ней) повел совместно с женой иную жизнь и окружил себя новыми людьми, то вполне естественно, что, оценивая разряд, к какому принадлежали эти люди, и, следовательно, взвешивая, насколько встречи с ними льстят его самолюбию, он избрал мерилom не самых ярких представителей того общества, в котором он вращался до женитьбы, а давних знакомых Одетты. И тем не менее, когда становилось известно, что он собирается завязать отношения с невысокого полета чиновниками и с продажными женщинами – украшением министерских балов, то все удивлялись, как это Сван, который прежде, да, впрочем, и теперь, так мило умалчивал, что он получил приглашение в Твикенгем или в Бэкингем Пэлес, всюду разванивает о том, что жена какого-нибудь помощника начальника отдела визит г-же Сван. Могут возразить, что простота элегантно Свана была лишь утонченной стороной его тщеславия и что на примере бывшего друга моих родителей, как и на примере некоторых других евреев, можно наблюдать последовательность этапов, через которые проходили его соплеменники: от наивнейшего снобизма и грубейшего хамства до изысканнейшей любезности. Однако основная причина заключалась не в этом, а в черте общечеловеческой: наши достоинства не представляют собой чего-то свободного, подвижного, чем мы вольны распоряжаться по своему благоусмотрению; в конце концов они так тесно сплетаются с действиями, которые нас вынуждают обнаруживать их, что если перед нами возникает необходимость в иного рода деятельности, то она застаёт нас врасплох, и нам даже не приходит в голову, что она обладает способностью пробудить в нас эти самые достоинства. Сван, заискивавший перед новыми знакомыми и гордившийся ими, был похож на отличающегося скромностью и душевным благородством большого художника, к концу жизни вдруг начинающего увлекаться кулинаруией или садоводством и простодушно радующегося похвалам, расточаемым его кушаньям или клумбам, которые он не позволяет критиковать, тогда как критика его картин не вызывает

в нем раздражения; а быть может, на того, кто способен подарить свою картину, но кого сердит проигрыш двухсот сантимов в домино.

Что касается профессора Котара, то он будет часто появляться значительно позднее у «покровительницы» в замке Распельер. Пока достаточно заметить следующее: перемена, происшедшая со Сваном, еще могла вызывать удивление, так как совершилась она, когда я, ничего не подозревая, встречался с отцом Жильберты на Елисейских Полях, где он к тому же не разговаривал со мной и не имел случая похвастаться своими связями в политических кругах. (Впрочем, если бы он и похвастался, то я вряд ли сразу разглядел бы в нем честолюбца, – издавна сложившееся представление о человеке закрывает нам глаза и затыкает уши; моя мать три года не замечала, что ее племянница красит губы, как будто краска вся целиком растворялась в какой-нибудь жидкости, – не замечала, пока излишек краски, а быть может, какая-нибудь другая причина не вызвала явления, именуемого перенасыщением; вся не замечавшаяся до того времени краска кристаллизовалась, и моя мать, потрясенная этим внезапным цветовым разгулом, сказала, как сказали бы в Комбре, что это позор, и почти порвала с племянницей.) Другое дело – Котар: то время, когда он присутствовал при первых появлениях Свана у Вердюренов, было уже довольно далеким временем, а ведь и почести и звания приходят с годами; притом можно быть неучем, придумывать глупые каламбуры и обладать особым даром, который никакое общее образование не заменит, как, например, талант выдающегося стратега или выдающегося клинициста. В самом деле, товарищи смотрели на Котара не только как на необразованного практика, в конце концов ставшего европейской знаменитостью. Самые умные из молодых врачей уверяли, – по крайней мере, в течение нескольких лет, так как всякая мода меняется: ведь она же и вырастает из потребности в перемене, – что если они когда-нибудь захворают, то не доверят свою драгоценную жизнь никому, кроме Котара. Общаться же они, разумеется, предпочитали с более образованными, более художественно восприимчивыми из своих наставников, с которыми можно было поговорить о Ницше, о Вагнере. Когда у г-жи Котар устраивались музыкальные вечера, на которые она в надежде, что ее муж станет деканом факультета, звала его коллег и учеников, он, вместо того чтобы слушать музыку, играл в соседней комнате в карты. Зато он славился находчивостью, проницательностью, точностью диагнозов. Заметим еще относительно поведения профессора Котара с такими людьми, как мой отец, что сущность, которую мы выказываем на склоне лет, хотя и часто, но не всегда выражает изначальную нашу сущность, раскрывшуюся или заглохшую, развернувшуюся или ужавшуюся; эта вторая натура представляет собой иногда нечто прямо противоположное первой, попросту говоря, представляет собой платье, вывернутое наизнанку. В молодости Котар везде, кроме обожавших его Вердюренов, своим растерянным видом, своей робостью, своей чрезмерной любезностью подавал повод для бесчисленных острот. Какой добрый друг посоветовал ему разыгрывать неприступность? Важность занимаемого положения помогла ему принять такой вид. Везде, за исключением Вердюренов, где он инстинктивно становился самим собой, он был холоден, рад был помолчать, проявлял решительность, когда нужно было говорить, не упускал случая сказать что-нибудь неприятное. Ему предоставлялась возможность испробовать новую манеру держать себя с пациентами, которые видели его впервые, у которых не было материала для сравнения и которые были бы очень удивлены, если бы им сказали, что от природы профессор Котар совсем не груб. Больше всего он заботился о том, чтобы казаться бесстрастным, и даже на службе, когда над его очередным каламбуром покатывались все, от заведующего клиникой до новичка-практиканта, ни один мускул ни разу не дрогнул на его лице, которое, кстати сказать, изменилось до неузнаваемости после того, как он сбрил бороду и усы.

В заключение поясним, кто такой маркиз де Норпуа. Он был нашим полномочным представителем до войны и послом в эпоху «16 мая», и, несмотря на это, к вящему удивлению многих, ему потом не раз поручалось представлять Францию в миссиях чрезвычайной важности, –

даже в качестве контролера по уплате долгов в Египте, где он благодаря своим большим финансовым способностям оказал важные услуги, – поручалось радикальными правительствами, на службу к которым не пошел бы простой реакционно настроенный буржуа и у которых маркиз из-за своего прошлого, из-за своих связей, из-за своих взглядов, казалось бы, должен был быть на подозрении. Но, видимо, передовые министры отдавали себе отчет, что подобный выбор свидетельствует о том, на какую широту способны они, когда речь идет о насущных интересах Франции; они показывали этим, что они незаурядные политические деятели, – даже такая газета, как «Деба», удостаивала их звания государственных умов, – и, ко всему прочему, извлекали выгоду из аристократической фамилии маркиза, а также из интереса, какой вызывает, подобно непредвиденной развязке, неожиданное назначение. И еще они знали, что, выдвинув маркиза де Норпуа, они могут пользоваться этими преимуществами, будучи уверены в его политической лояльности, за какую ручалось – а вовсе не настораживало – его происхождение. И тут правительство Французской республики не ошибалось. Прежде всего потому, что иные аристократы, с детства воспитанные на уважении к своей фамилии как к некоему духовному преимуществу, которое никто не властен у них отнять (и ценность которого достаточно хорошо известна не только их ровням, но и лицам еще более высокого происхождения), понимали, что они вольны не тратить усилий, какие без ощутимых результатов прилагают многие буржуа, произнося благонамеренные речи и знаясь с благомыслящими людьми. В то же время, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, стоявших непосредственно над ними, эти аристократы отдавали себе отчет, что могут достичь цели, прибавив к своей фамилии то, чего прежде она в себе не заключала и что поднимет их над теми, кто до сих пор был им равен: влияние в политических кругах, известность в литературе или художественном мире, крупное состояние. И, воздерживаясь от заигрывания с дворянчиком, который им не пригодится и вокруг которого увивается буржуазия, воздерживаясь от бесполезной с ним дружбы, потому что ни один из принцев их за это не поблагодарит, они дорожили хорошими отношениями с политическими деятелями, даже с франкмасонами, так как благодаря политическим деятелям перед ними могут открыться двери посольств, так как политические деятели могут поддержать их на выборах, хорошими отношениями с художниками и учеными, ибо эти могут помочь «пролезть» в ту область, где они задают тон, наконец, со всеми, кто имеет возможность пожаловать новый знак отличия или женить на богатой.

Что же касается маркиза де Норпуа, то он еще вдобавок за свою долгую дипломатическую службу пропитался духом отрицания, рутинерства, консерватизма, «правительственным духом», названным так потому, что это действительно дух всех правительств и, в частности, при всех правительствах, дух канцелярий. На своем поприще он проникся неприязнью, страхом и презрением к более или менее революционным или хотя бы некорректным выступлениям, то есть к выступлениям оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд из простонародья и из высшего общества, для которых разница во вкусах ничего не значит, людей сближает не общность воззрений, а сродство душ. Академик типа Легуве, приверженец классицизма, скорее аплодировал бы речи в честь Виктора Гюго, произнесенной Максимом Дюканом или Мезьером, нежели речи в честь Буало, произнесенной Клоделем. Единства националистических взглядов достаточно, чтобы сблизить Барреса с его избирателями, которым должно быть в общем безразлично: что он, что Жорж Берри, но не с его коллегами по Академии, потому что, разделяя политические его убеждения, но обладая иным душевным строем, они предпочитают ему даже таких противников, как Рибо и Дешанель, к которым правоверные монархисты стоят гораздо ближе, чем к Моррасу или Леону Доде, хотя Моррас и Доде тоже мечтают о возвращении короля. Маркиза де Норпуа приучила к неразговорчивости его профессия, требовавшая осторожности и сдержанности, но не только профессия, а еще и сознание, что слова повышаются в цене и приобретают больше оттенков в глазах людей, чьи многолетние усилия, направленные к сближению двух стран, подытоживаются, выражаются – в речи, в протоколе –

простым прилагательным, с виду банальным, однако таким, в котором им виден весь мир, и маркиза считали человеком очень сухим в той комиссии, где заседали он и мой отец и где все поздравляли моего отца с тем, что бывший посол явно к нему расположен. Моего отца это расположение удивляло больше, чем кого бы то ни было. Дело в том, что мой отец вообще не отличался особой приветливостью и не любил заводить новые знакомства, в чем он откровенно и признавался. Он понимал, что благорасположение дипломата есть следствие индивидуальной точки зрения, на которую становится каждый из нас, чтобы определить свои симпатии, и с которой человек скучный и надоедливый, при всем его уме и доброте, может меньше понравиться, чем другой, откровенный и веселый, многим кажущийся пустым, легкомысленным и ничтожным. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; поразительно; в комиссии все ошеломлены – там он ни с кем не близок. Я уверен, что он мне еще расскажет что-нибудь потрясающее о войне семидесятого года». Моему отцу было известно, что, кажется, только маркиз де Норпуа предупреждал императора, что силы Пруссии растут и что она готовится к войне, и еще ему было известно, что Бисмарк высокого мнения об уме маркиза. Совсем недавно газеты писали, что в Опере, на торжественном спектакле в честь короля Феодосия, государь имел с маркизом де Норпуа продолжительную беседу. «Надо бы разузнать, так ли уж важен приезд короля, – сказал мой отец, живо интересовавшийся иностранной политикой. – Старик Норпуа обычно застегнут на все пуговицы, ну, а со мной он – в виде особой любезности – нараспашку».

Что касается моей матери, то посол, пожалуй, не мог особенно ее привлекать складом своего ума. Должен заметить, что речь де Норпуа являла собой полный набор устаревших оборотов, свойственных людям определенного рода занятий, определенного класса и времени, – времени, которое для этого рода занятий и для этого класса, вернее всего, еще не совсем прошло, – и порой мне становится жаль, что я не запомнил слово в слово всего, что он говорил. Тогда бы я удержал впечатление старомодности так же легко и таким же способом, как артист из Пале-Рояля, который на вопрос, где он отыскивает такие изумительные шляпы, ответил: «Я не отыскиваю шляпы. Я их храню». Короче говоря, мне кажется, что моя мать находила маркиза де Норпуа отчасти «старозаветным», и когда эта старозаветность проявлялась в его манерах, то это ей даже нравилось, а вот старозаветность не мыслей, – мысли у маркиза де Норпуа были вполне современные, – но выражений не доставляла ей особого удовольствия. Однако она чувствовала, что восхищение дипломатом – это тонкая лесть ее мужу, к которому он особенно благоволит. Она полагала, что, укрепляя в моем отце хорошее мнение о маркизе де Норпуа и благодаря этому поднимая его в собственных глазах, она исполняет свой долг – делать жизнь приятней для своего мужа, так же как она исполняла свой долг, следя за тем, чтобы у нас в доме вкусно готовили и чтобы прислуга ходила по струнке. И так как она была неспособна лгать моему отцу, то, чтобы искренне хвалить посла, она убеждала себя, что очарована им. Впрочем, он в самом деле обвораживал ее своим добродушным видом, несвоевременной учтивостью (настолько церемонной, что когда он шел, вытянувшись во весь свой высокий рост, и вдруг видел, что навстречу ему едет в экипаже моя мать, то, прежде чем поклониться, швырял только что начатую сигару), плавной речью, старанием как можно реже упоминать о себе и говорить приятное своему собеседнику, необычайной аккуратностью в переписке, из-за которой у моего отца, только что отправившего ему письмо и узнавшего почерк маркиза на конверте, всякий раз мелькала мысль, что вследствие досадной случайности их письма разошлись; можно было подумать, что на почте для маркиза существуют особые, дополнительные выемки. Мою мать удивило, что маркиз так точен, несмотря на то, что так занят, и так внимателен, несмотря на то, что он всегда нарасхват: ей не приходило в голову, что эти «несмотря на» суть не что иное, как непонятые ею «потому что»; ей не приходило в голову, что (так же как старики поразительно сохраняются для своих лет, короли держат себя на редкость просто, а провинциалам бывают известны самые последние новости) маркиз де Норпуа в силу одной и той же привычки может при всей своей занятости быть столь исправным в переписке, может

быть очаровательным в обществе и любезным с нами. Ошибка моей матери объяснялась еще тем, что моя мать, как все чересчур скромные люди, принижала то, что относилось к ней, и, следовательно, отделяла себя от других. Она особенно ценила в приятеле моего отца то, что он так скоро нам отвечает, хотя ему каждый день приходится писать столько писем, – ценила потому, что выделяла из большого количества писем его ответ нам, а между тем его ответ нам был всего лишь одним из его ответов; точно так же она не рассматривала то, что маркиз де Норпуа сегодня обедает у нас, как одно из бесчисленных проявлений его общественной жизни: она забывала о том, что посол за время своей дипломатической службы привык смотреть на званый обед как на одну из своих обязанностей, что он привык проявлять на таких обедах укorenившуюся в нем обходительность, которую ему трудно было бы побороть в исключительном случае, когда он обедал у нас.

Первый обед, на котором у нас был маркиз де Норпуа, состоялся в тот год, когда я еще играл на Елисейских Полях, и он сохранился в моей памяти, потому что я тогда наконец увидел Берма на утреннем спектакле в «Федре», а еще потому, что, разговаривая с маркизом де Норпуа, я сразу и по-новому понял, насколько чувства, вызываемые во мне всем, что относится к Жильберте Сван и к ее родителям, отличаются от тех, какие эта семья внушает к себе всем остальным.

Заметив, по всей вероятности, какое уныние наводит на меня мысль о близящихся новогодних каникулах, во время которых, о чем предупредила меня сама Жильберта, мы с ней не увидимся, моя мать, чтобы порадовать меня, однажды сказала: «Я думаю, что, если ты по-прежнему горишь желанием посмотреть Берма, отец, пожалуй, позволит тебе пойти в театр; повести тебя может бабушка».

И все же только благодаря маркизу де Норпуа, который сказал моему отцу, что мне не мешает посмотреть Берма, что это одно из таких событий в жизни молодого человека, которые запоминаются на всю жизнь, мой отец, до сих пор восстававший против пустой траты времени и риска здоровьем из-за того, что он, к великому ужасу бабушки, называл вздором, склонился к мысли, что этот расхваленный послом спектакль в какой-то мере может наряду с другими великолепными средствами способствовать моей блестящей карьере. Бабушка в свое время пошла на большую жертву ради моего здоровья, которое она считала важнее пользы, какую может принести мне игра Берма, и теперь ее приводило в недоумение, что одного слова маркиза де Норпуа оказалось достаточно, чтобы родители пренебрегли моим здоровьем. Возлагая несокрушимые надежды рационалистки на свежий воздух и раннее укладывание в постель, она воспринимала это нарушение предписанного мне режима как несчастье и с удрученным видом говорила моему отцу: «До чего же вы легкомысленны!» – на что мой отец в сердцах отвечал: «Что такое? Теперь это уж вы не хотите, чтобы он шел в театр? Вот тебе раз! Да не вы ли с утра до вечера твердили нам, что это может принести ему пользу?»

Но маркиз де Норпуа изменил намерения моего отца и в гораздо более существенном для меня вопросе. Отцу давно хотелось, чтобы я стал дипломатом, а мне была невыносимо тяжела мысль, что если даже я буду на некоторое время оставлен при министерстве, то потом меня могут направить послом в одну из столиц и разлучить с Жильбертой. Я подумывал, не вернуться ли мне к моим литературным замыслам, которые у меня возникали и тут же вылетали из головы во время моих прогулок по направлению к Германту. Однако мой отец был против того, чтобы я посвятил себя литературе: он находил, что литература куда ниже дипломатии; он даже не считал это карьерой, пока маркиз де Норпуа, смотревший сверху вниз на новоиспеченных дипломатов, не убедил его, что писатель может пользоваться такой же известностью, так же много сделать и вместе с тем быть независимее сотрудников посольств.

– Вот уж чего я не ожидал: старик Норпуа ничего не имеет против того, чтобы ты занялся литературой, – сказал мне отец. А так как он сам был человек довольно влиятельный, то ему казалось, что все может уладить, всему может дать благоприятный исход беседа значительных

лиц. – Я как-нибудь прямо из комиссии привезу его к нам поужинать. Ты с ним поговоришь, чтобы он мог составить о тебе определенное мнение. Напиши что-нибудь хорошее и покажи ему; он очень дружен с редактором «Ревю де Де Монд», – он тебя туда введет, эта старая лиса все устроит; насколько я понял, насчет нынешней дипломатии он...

Блаженство не расставаться с Жильбертой вдохновляло меня, но не наделяло способностью написать прекрасную вещь, которую не стыдно было бы показать маркизу де Норпуа. Исписав несколько страниц, я уронил от скуки перо и заплакал злыми слезами оттого, что у меня нет таланта, что я бездарность и что я упускаю возможность остаться в Париже, связанную с приходом маркиза де Норпуа. Я утешался лишь тем, что меня отпустят на спектакль с участием Берма. Однако подобно тому, как мне хотелось посмотреть на морскую бурю там, где она разражается с особенной силой, точно так же я мечтал увидеть великую актрису только в одной из тех классических ролей, где она, по словам Свана, достигала совершенства. Ведь когда мы надеемся получить впечатление от природы или от искусства в чаянии какого-нибудь изумительного открытия, мы не без колебаний отдаем свою душу для менее сильных впечатлений, которые могут дать неверное представление об истинно Прекрасном. Берма в лучших своих ролях: в «Андромахе», в «Причудах Марианны», в «Федре» – вот чего жаждало мое воображение. Я пришел бы в не меньший восторг, услышав Берма, произносящую этот стих:

Ты покидаешь нас? Не сетуй на доuku и т. д., –

чем если бы гондола подвезла меня к картине Тициана во Фрари или к картинам Карпаччо в Сан-Джорджо дельи Скьяви. Я знал эти картины в одноцветных репродукциях, воспроизводимых в книгах, но сердце у меня колотилось, словно перед путешествием, когда я думал, что увижу их наконец воочию купающимися в воздухе и в свете золотого звучания. Обаяние Карпаччо в Венеции, Берма в «Федре», этих чудес живописи и сценического искусства, было так велико, что я носил их в себе живыми, то есть невидимыми, и если б я увидел Карпаччо в одной из зал Лувра или Берма в какой-нибудь совершенно неизвестной мне пьесе, я бы не испытал восторженного изумления от того, что наконец-то передо мной непостижимый и единственный предмет бесконечных моих мечтаний. Кроме того, ожидая от игры Берма откровений в области изображения благородства, скорби, я полагал, что игра актрисы станет еще сильнее, правдивее, если она проявит свой дар в настоящем произведении искусства и ей не придется вышивать узоры отвлеченной истины и красоты по ничтожной и пошлой канве.

Наконец, если б я смотрел Берма в новой пьесе, мне было бы трудно судить об ее искусстве, об ее дикции: я не мог бы отделить незнакомый мне текст от дополнений, вносимых в него интонациями и жестами, и у меня было бы такое впечатление, что они с ним сливаются, тогда как старые вещи – те, что я знал наизусть, – представлялись мне широкими, приберегаемыми для меня пространствами, только и ждущими, чтобы я без помех оценил выдумку Берма, которая распишет их *al fresco* непрерывными находками своего вдохновения. К несчастью, оставив большие театры и став звездой одного бульварного театра, дела которого сразу пошли в гору, Берма уже не играла классику, и, сколько я ни следил за афишами, они объявляли о пьесах, только что написанных для нее модными драматургами; и вдруг однажды утром, проглядывая расклеенные на столбе афиши дневных спектаклей на новогодней неделе, я в первый раз увидел – в конце спектакля, после какой-то, должно быть, плохенькой пьески, заглавие которой показалось мне непроницаемым, ибо оно вмещало в себя все признаки незнакомого мне драматического произведения, – два действия «Федры» с участием г-жи Берма, а затем должны были идти днем «Полусвет», «Причуды Марианны», и вот это, подобно «Федре», были названия прозрачные, светящиеся – так хорошо я знал самые вещи, – до дна озаренные улыбкой искусства. Когда я после афиш прочел в газетах, что Берма решила снова показаться публике в некоторых старых своих ролях, у меня появилось ощущение, будто они ей самой прибавили

благородства. Значит, артистка понимала, что иные роли переживают интерес новизны и успех возобновления; она считала свое исполнение этих ролей музейной ценностью; она находила, что еще раз посмотреть эту ценность было бы поучительно для поколения, которое когда-то восхищалось ею, как поучительно посмотреть на нее для поколения, которое никогда прежде ее не видело. Выставляя на афише, среди пьес, предназначенных только для того, чтобы публике было где провести время, «Федру» – название не длиннее других и напечатанное таким же шрифтом, Берма применяла хитрость хозяйки дома, которая, прежде чем позвать к столу, знакомит вас с гостями и, не меняя тона, называет среди ничего вам не говорящих имен приглашенных: «Господин Анатолий Франс».

Мой доктор – тот самый, который запретил мне путешествия, – отсоветовал моим родителям пускать меня в театр: я после этого заболею, может быть – надолго, и мои страдания не окупятся удовольствием. Страх заболеть мог бы остановить меня, если б я рассчитывал получить от представления только удовольствие, – страдания, которые мне придется испытать потом, сведут его к нулю. Но – как и от путешествия в Бальбек, как и от путешествия в Венецию, куда меня так тянуло, – я ожидал от дневного спектакля совсем не удовольствия: я ожидал познания истин, имевших отношение к миру более действительному, чем тот, где находился я, и которое у меня уже не отнимут мелкие происшествия, хотя бы они причиняли боль моему телу, моему праздному существованию. Удовольствие, которое мог бы мне доставить спектакль, было для меня не больше чем формой, пожалуй, впрочем, необходимой для восприятия истин; и вот почему я хотел, чтобы предсказываемая мне доктором болезнь началась после спектакля, – иначе у меня будет испорчено и искажено впечатление. Посоветовавшись с доктором, родители решили не пускать меня на «Федру», а я их упрашивал. Я все твердил про себя стих:

Ты покидаешь нас? Не сетуй на доуку... –

я перепробовал все интонации, чтобы тем неожиданнее была для меня интонация, которую нашла Берма. Таимая, как святая святых, за завесой, за которой я поминутно придавал ей новый вид, пользуясь приходившими мне на память выражениями Бергота из той его книги, что нашла Жильберта: «Пластическое благородство, христианская власяница, янсенистская бледность, принцесса Трезенская и Клевская, Микенская драма, дельфийский символ, солнечный миф», божественная Красота, которую должна была мне открыть игра Берма, царствовала в моем сознании, и днем и ночью не гасившем своего жертвенника, и только моим строгим и легкомысленным родителям предстояло решить, заключит ли оно в себе – и уже навсегда – совершенства Богини, как только завеса откинется и Богиня явится взору на том самом месте, где доселе возвышалось незримое ее изваяние. Не отводя мысленного взора от непостижимого образа, я с утра до вечера преодолевал препятствия, воздвигаемые моими домашними. Когда же препятствия рухнули, когда моя мать – хотя спектакль приходился в день заседания комиссии, после которого отец собирался привезти к обеду маркиза де Норпуа, – сказала: «Ну хорошо, мы не станем тебя огорчать; если тебе кажется, что ты получишь такое огромное удовольствие, то пойд»; когда выход в театр, до сего времени запрещенный, зависел уже только от меня, – тут впервые, избавившись от необходимости добиваться осуществления своей мечты, я задал себе вопрос: а стоит ли идти, нет ли у меня самого, помимо запрета, налагавшегося родителями, причин отказаться от театра? Во-первых, если вначале жестокость родителей возмущала меня, то едва я получил их согласие, они стали мне так дороги, что мысль о том, как бы не встревожить их, возбуждала во мне самую такую тревогу, сквозь которую мне рисовалась целью жизни уже не истина, но любовь, а сама жизнь казалась хорошей или плохой в зависимости от того, счастливы или несчастны мои родители. «Если вас это огорчит, то я лучше уж не пойду», – сказал я матери, а та, наоборот, старалась вытравить во мне тайную

мысль, что она будет беспокоиться, так как, по ее словам, эта мысль испортила бы мне удовольствие от «Федры», ради которого они с отцом пошли на уступки. Но тут я почувствовал всю тяжесть моей обязанности получить удовольствие. Притом если я заболею, то поправлюсь ли к окончанию каникул, чтобы пойти на Елисейские Поля, как только туда опять станет ходить Жильберта? Стремясь прийти к окончательному решению, я выдвигал против этих доводов представление о невидимом за завесой совершенстве Берма. На одну чашу весов я положил: «чувствовать, что мама беспокоится, рисковать Елисейскими Полями», а на другую – «янсенистскую бледность, солнечный миф»; но в конце концов эти выражения тускнели в моем сознании, ничего уже мне не говорили, теряли вес; мои колебания час от часу становились мучительнее, так что если я теперь и выбирал театр, то лишь для того, чтобы прекратить их, чтобы избавиться от них навсегда. Надеюсь положить конец моим мучениям, а не в чаянии интеллектуального обогащения и не под обаянием совершенства, позволил бы я теперь подвести себя уже не к Мудрой Богине, но к неумолимому и безымянному, безличному Божеству, которым ее ухитрились подменить за завесой. Внезапно все изменилось: мое желание посмотреть Берма было подхлестнуто, и я уже с радостным нетерпением ждал дневного спектакля; меня, как столпника, потянуло на место моего ежедневного стояния, с недавних пор такого мучительного, и я увидел на столбе еще сырую, только что вывешенную подробную афишу «Федры» (откровенно говоря, не вызвавшую у меня ни малейшего интереса новым составом исполнителей других ролей). Афиша придавала одной из целей, между которыми колебалась моя нерешительность, нечто более конкретное и – поскольку на афише стояло не то число, когда я ее читал, а то, на какое был назначен спектакль, и указывалось его начало, – почти неизбежное; она говорила о том, что я уже на пути к достижению цели, и я подпрыгнул от радости при мысли, что в этот день и точно в этот час я, сидя на моем месте, замру в ожидании выхода на сцену Берма; боясь, что родители не успеют достать хорошие места для бабушки и для меня, я помчался домой, подгоняемый волшебными словами, заменившими в моем сознании «янсенистскую бледность» и «солнечный миф»: «Дамы в шляпах в партер не допускаются, после двух часов вход в зрительный зал воспрещен».

Увы! Этот первый спектакль принес мне глубокое разочарование. Отец предложил нам, бабушке и мне, по дороге в комиссию завезти нас в театр. Перед уходом он сказал матери: «Постарайся насчет обеда; ты не забыла, что я приеду с Норпуа?» Моя мать об этом помнила. И еще накануне Франсуаза, счастливая тем, что ей предстоит заняться кулинарным искусством – а у нее был несомненный талант кулинарки, – да еще вдохновляемая известием, что мы ждем гостя, зная, что она должна будет по рецепту, известному ей одной, приготовить заливное из говядины, переживала творческий подъем; Франсуаза придавала огромное значение качеству материала, из которого она творила, и потому, подобно Микеланджело, восемь месяцев проведенному в Каррарских горах, чтобы выбрать лучшие глыбы мрамора для памятника Юлию II, сама ходила на рынок за первейшего сорта ромштексом, голяшками и телячьими ножками. Франсуаза так стремительно совершала эти походы, что мама, заметив, какое у нее красное лицо, начинала бояться, как бы старая наша служанка, подобно создателю гробницы Медичи в Пьетросантских каменоломнях, не заболела от переутомления. И уже накануне Франсуаза послала булочнику то, что она называла «нев-йоркским» окороком, чтобы он этот розовый мрамор облек хлебным мякишем. Считая, что язык человеческий не так богат, как принято думать, и не доверяя собственным ушам, она, вероятно впервые услышав о йоркской ветчине и решив, что Йорк и Нью-Йорк – это что-то уж слишком много, подумала, что ослышалась и что было произнесено уже знакомое ей название. Вот почему с тех пор в ее ушах или в глазах, если она читала объявление, перед словом «Йорк» неизменно стояло слово «Нью», которое она произносила: «Нев». И она вполне серьезно говорила судомойке: «Сходи за ветчиной к Олида. Барыня наказывала непременно взять нев-йоркской».

В тот день Франсуаза была проникнута пламенной уверенностью великих творцов, тогда как мною владело мучительное беспокойство искателя. Разумеется, пока я не увидел Берма, я испытывал наслаждение. Я испытывал это наслаждение в скверике перед театром, под облетевшими каштанами, которые два часа спустя, как только зажгутся фонари и осветят каждую их веточку, заблестят металлическим блеском; я испытывал это наслаждение перед контролерами, чья служба в театре, чье продвижение, чья судьба зависели от великой артистки, ибо управляла театром она одна, а не призрачные, чисто номинальные директора, сменявшие друг друга так, что никто этого не замечал, – перед контролерами, которые, не глядя на нас, взяли наши билеты и мысли которых были заняты совсем другим: в точности ли переданы все распоряжения г-жи Берма новому составу, точно ли известно, что клакеры ни в коем случае не должны аплодировать ей, что окна должны быть открыты, пока она не выйдет на сцену, а как только выйдет – чтобы все двери были заперты, что поблизости от нее должен быть спрятан кувшин с горячей водой для того, чтобы вода поглощала пыль на сцене; да ведь и то сказать: можно ждать с минуты на минуту, что ее экипаж, запряженный парой гривачей, остановится перед театром, из экипажа выйдет в мехах г-жа Берма и, недовольным кивком ответив на приветствия, пошлет свою служанку узнать, оставлена ли для ее друзей литерная ложа, какая температура в зрительном зале, кто сегодня в ложах и как справляется со своими обязанностями женская прислуга, – театр и публика служили ей второй, находящейся ближе к поверхности оболочкой, которую она сейчас на себя набросит, более или менее удовлетворительным проводником для ее таланта. Я был счастлив и в зрительном зале; с тех пор как я узнал, что дело обстоит не так, как это долго рисовалось детскому моему воображению, что сцена – одна для всех, мне казалось, что другие зрители будут мне мешать, как мешает смотреть толпа; между тем я убедился в обратном: благодаря расположению мест в театре, являющему собой как бы символ всякого восприятия, каждый чувствует себя центром театра; и тут я понял, почему Франсуаза, которая однажды смотрела мелодраму, сидя в третьем ярусе, уверяла, придя домой, что у нее было самое лучшее место и что это совсем не далеко от сцены, как раз наоборот: ее смущала таинственная, одушевленная близость занавеса. Мое наслаждение еще усилилось, как только я начал различать за опущенным занавесом глухой шум, вроде того, какой слышится в яйце, когда из него должен вылупиться цыпленок, и вскоре шум стал громче, а потом вдруг из мира, недоступного нашему взору, обратился несомненно к нам в повелительной форме трех ударов, столь же волнующих, как сигналы, посылаемые с планеты Марс. И – уж после поднятия занавеса, – когда стоявшие на сцене письменный стол и камин, впрочем, ничем не примечательные, дали понять, что сейчас на сцену выйдут не декламирующие актеры, каких я слышал на одном вечере, а просто-напросто люди, проводящие у себя дома один из дней своей жизни, в которую я вторгался невидимо для них, мое наслаждение все еще длилось; оно было нарушено непродолжительным отвлечением: только я напряг слух перед началом пьесы, как на сцене появилось двое мужчин, видимо, чем-то разгневанных, ибо они говорили так громко, что в зале, где находилось больше тысячи человек, было слышно каждое их слово, тогда как в маленьком кафе приходится спрашивать официанта, о чем говорят два подравшихся посетителя; но, изумленный тем, что публика слушает их спокойно, погруженный во всеобщее молчание, на поверхности которого там и сям стали появляться пузырьки смешков, я скоро сообразил, что эти нахалы – актеры и что одноактная пьеска, открывавшая спектакль, началась. Антракт после пьески так затянулся, что вернувшиеся на свои места зрители от нетерпения затопали ногами. Я испугался; когда я читал в отчете о судебном процессе, что какой-то благородный человек пришел, не считаясь со своими интересами, заступиться за невинного, я всякий раз опасался, что с ним будут недостаточно любезны, что ему не изъясят признательности, что его не вознаградят с подобающей щедростью и что он от омерзения перейдет на сторону несправедливости; вот так и сейчас, не отделяя гения от добродетели, я боялся, что Берма возмутится безобразным поведением невоспитанной публики, а не обрадуется – как я

надеялся – при виде знаменитостей, мнением которых она бы дорожила, и ее неудовольствие и презрение выразятся в плохой игре. И я молящим взором смотрел на топочущих грубиянов, которые своим неистовством могли разбить хрупкое и драгоценное впечатление, за которым я сюда пришел. Я почти уже не испытывал наслаждения, как вдруг началась «Федра». В первых явлениях второго действия Федра не появляется; и тем не менее, как только занавес взвился, а за ним и второй, из красного бархата, отделявший глубину сцены во всех пьесах с участием «звезды», на заднем плане показалась актриса, у которой внешность и голос были такие же, как, насколько я мог судить по описаниям, у Берма. Значит, роли перераспределены, и я напрасно так старательно изучал роль жены Тезея. Но тут подала реплику другая актриса. Вне всякого сомнения, я ошибся, приняв первую за Берма: вторая была еще больше на нее похожа, в частности – манерой говорить. Впрочем, обе сопровождали свои слова благородными жестами, – их жесты были мне хорошо видны, и, когда актриса приподнимала свои красивые пеплумы, я угадывал связь между этими движениями и текстом трагедии, так же как мне были понятны их верные интонации, то страстные, то насмешливые, раскрывавшие смысл стиха, который я прочел дома недостаточно внимательно. И вдруг в промежутке между двумя половинками красной завесы святилища, точно в рамке, показалась женщина, и по овладевшему мной страху, гораздо более мучительному, чем страх, который могла сейчас испытывать Берма, что ей помешает стук отворяемого окна, что шелест программы исказит звучание ее голоса, что партнерш наградят более дружными аплодисментами, чем ее, и это будет ей неприятно; по тому, что я еще цельнее, чем Берма, воспринимал с этой минуты зал, публику, актеров, пьесу и мое собственное тело как акустическую среду, ценность которой зависит лишь от того, насколько она благоприятна для переливов ее голоса, я понял, что две актрисы, которыми я только что восхищался, совсем не похожи на ту, ради кого я сюда пришел. И в тот же миг я перестал наслаждаться; как ни напрягал я зрение, слух, разум, чтобы не пропустить малейшего повода для восторга перед игрой Берма, поводов я не находил. У ее партнерш я улавливал обдуманно интонации, подмечал красивые движения, а у нее – нет. Впечатление от ее игры было не более сильное, чем когда я сам читал «Федру» или чем если бы сейчас говорила сама Федра, – мне казалось, что талант Берма решительно ничего не прибавил. Я пытался составить себе более ясное представление об ее игре, определить, что же в ней хорошего, и потому мне хотелось, чтобы каждая интонация артистки звучала как можно дольше, чтобы каждое выражение ее лица застывало на какое-то время; во всяком случае, я старался употребить всю гибкость ума на то, чтобы заставить мое внимание перескочить через стих, разместить его со всеми удобствами и держать наготове, не растрчивать попусту ни единого мига из того времени, в течение которого звучит слово, длится жест, и благодаря напряжению внимания проникнуть в них так же глубоко, как если бы мне на это было отпущено несколько часов. Но до чего же кратки были эти миги! Мое ухо не успевало воспринять один звук, как его уже сменял другой. В сцене, где Берма некоторое время стоит неподвижно, держа руку на уровне головы, искусственно освещенной зеленоватым светом, перед декорацией, изображающей море, зал загремел рукоплесканиями, но актриса уже перешла на другое место, и картина, которую мне хотелось осмыслить, исчезла. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, и она дала мне бинокль. Но если человек, верящий в реальность вещей, пользуется искусственным способом для того, чтобы получше рассмотреть их, то это еще не значит, что он стал ближе к ним. Мне казалось, что теперь я вижу не Берма, а ее изображение в увеличительном стекле. Я отложил бинокль; но, быть может, уменьшенным расстоянием, различаемый моим зрением образ – это тоже образ искаженный; которая же из двух – Берма настоящая? Я возлагал большие надежды на ее объяснение с Ипполитом, для которого, если судить по тому, как искусно ее партнерши то и дело раскрывали мне смысл куда менее красивых стихов, она, конечно, найдет более неожиданные интонации, чем те, какие силился придумать я, читая у себя дома трагедию; но Берма даже не сумела достичь того же, чего достигли Энона и Ариция, – она одним

тоном произнесла всю тираду, смазав резкие ее переходы, эффектностью которых не пренебрегла бы любая неопытная трагическая актриса, даже ученица; притом Берма так скоро проговорила весь монолог, что, только когда она произносила последний стих, до моего сознания дошла умышленная монотонность ее читки.

Наконец пробился мой первый восторг: он был вызван громом аплодисментов. Я тоже зааплодировал и решил аплодировать как можно дольше, чтобы Берма из чувства признательности превзошла потом себя и я проникся уверенностью, что присутствовал на одном из лучших ее спектаклей. Любопытно, что восторг публики разбушевался, когда Берма показала ей, как я узнал потом, одну из самых счастливых своих находок. По-видимому, иные трансцендентные реальности излучают свет, который хорошо чувствует толпа. Так, например, когда происходит какое-нибудь событие, когда армии на границе грозит опасность, когда она разбита или одержала победу, доходящие до нас смутные вести, из коих человек образованный извлечет немного, вызывают в толпе непонятное для него волнение, в котором – после того, как знатоки осветят ему положение на фронте, – он различает свойственное народу ощущение «ауры», окружающей важные события и видимой на расстоянии нескольких сотен километров. О победе узнают или задним числом, когда война кончилась, или мгновенно, по радости в глазах швейцара. О том, что Берма сыграла такое-то место гениально, узнают через неделю, из рецензии, или догадываются сразу, по овациям партера. Однако к свойственному толпе непосредственному чувству примешивается множество обманчивых чувств, и потому толпа в большинстве случаев аплодировала зря, а кроме того, эти взрывы аплодисментов механически вызывались предыдущими, – так море, вздущееся от бури, все еще продолжает колыхаться, хотя ветер утих. И все-таки, чем громче я аплодировал, тем больше нравилась мне игра актрисы. «По крайней мере, – говорила сидевшая рядом со мной довольно заурядного вида женщина, – она хоть старается: колотит себя изо всех сил, мечется, вот это я понимаю – игра!» И, счастливый тем, что я наконец понял, почему Берма выше всех – хотя у меня и мелькало подозрение, что замечания моей соседки так же доказательны, как восклицание крестьянина, смотрящего на Джоконду или на Персея Бенвенуто: «А ведь здорово сделано! Из золота, да еще из какого! Хорошая работа!» – я упивался плохим вином восторга публики. Все же, как только занавес опустился, я почувствовал разочарование: я ожидал большего, но в то же время мне хотелось, чтобы это обманувшее мои ожидания удовольствие продолжалось; мне была бы тяжела мысль, что, выйдя из зрительного зала, я навсегда расстанусь с жизнью театра, которая в течение нескольких часов была и моей жизнью и от которой я, вернувшись домой, оторвался бы, как изгнанник, если б не надеялся, что дома я много узнаю о Берма от ее поклонника, кому я обязан был тем, что меня отпустили на «Федру», – от маркиза де Норпуа.

Перед обедом отец позвал меня в свой кабинет и познакомил с маркизом. Как только я вошел, посланец встал, протянул руку, наклонился ко мне, что ему было не так легко при его высоком росте, и внимательно посмотрел на меня своими голубыми глазами. Хотя знакомства маркиза с иностранцами – в ту пору, когда он нес обязанности французского посла, – были знакомства мимолетные, все же эти иностранцы, в том числе – известные певцы, в общем значительно возвышались над уровнем посредственности, и маркизу представлялась возможность потом, когда о них шла речь в Париже или в Петербурге, вставить, что он отлично помнит вечер, который он с ними провел в Мюнхене или в Софии, – вот почему у него вошло в привычку проявлять к ним особое расположение и этим показывать, как он рад знакомству с ними; кроме того, будучи уверен, что, живя в столицах, встречаясь с интересными людьми, которые бывают в столицах проездом, изучая местные обычаи, человек приобретает такие глубокие познания, каких он не почерпнет в книгах по истории, географии, в книгах о нравах разных народов, об умственном движении Европы, маркиз испытывал на новом знакомом свою острую наблюдательность, чтобы уметь определять с первого взгляда, кто перед ним. Правительство давно уже не посылало де Норпуа за границу, но когда его с кем-нибудь познакомили, глаза его, словно они

не получали уведомления, что теперь он числится за штатом, предпринимали плодотворное исследование, меж тем как всем своим видом он старался показать, что он уже слышал фамилию человека, которого ему представляют. Вот почему он говорил со мной ласково, приняв многозначительный вид человека, сознающего свою многоопытность, и одновременно наблюдая за мной с пронизательным любопытством, в целях самообразования, как будто я представлял собою какой-нибудь туземный обычай, достопримечательный памятник или гастролирующую знаменитость. Он проявлял величественную благожелательность мудрого ментора и вместе с тем пытливую любознательность юного Анахарсиса.

Он даже не заикнулся о «Ревю де Де Монд», но зато расспросил меня, как я поживаю, чем занимаюсь, расспросил, к чему у меня особая склонность, и я впервые услышал, что о моих склонностях говорят так, как будто их нужно развивать в себе, а между тем до сих пор я считал, что с ними нужно бороться. Он ничего не имел против моей склонности к литературе; напротив, он говорил о литературе почтительно, как о достойной уважения, прелестной особе из высшего круга, о которой у него сохранилось наилучшее воспоминание со времен то ли Рима, то ли Дрездена, но с которой он, к сожалению, редко встречается, так как у него много дел. Улыбаясь почти игривой улыбкой, он словно завидовал мне, что я моложе и свободнее его и могу приятно проводить с ней время. Однако выражения, которыми он пользовался, совершенно не соответствовали тому представлению о литературе, какое я составил себе в Комбре, и тут я понял, что был вдвойне прав, отказавшись от нее. До сих пор я был убежден лишь в том, что у меня нет таланта; сейчас маркиз де Норпуа отбивал у меня всякую охоту писать. Мне не терпелось поделиться с ним своими мечтами: дрожа от волнения, я изо всех сил старался как можно чистосердечнее выразить все, что чувствовал, но еще ни разу не высказал; именно поэтому моя речь отличалась крайней неясностью. Быть может, в силу профессиональной привычки; быть может, оттого, что всякий влиятельный человек проникается спокойствием, когда у него спрашивают совета, ибо он заранее уверен, что нить разговора будет у него в руках, и предоставляет волноваться, напрягаться, лезть из кожи вон собеседнику; а еще, быть может, для того, чтобы обратить внимание на посадку своей головы (как ему казалось – греческой, несмотря на длинные бакенбарды), маркиз, когда ему что-нибудь излагали, сохранял полнейшую неподвижность черт лица, как будто вы обращались в глиптотеке к глухому античному бюсту. Ответ посла, поражающий своей неожиданностью, как удар молотка на аукционе или как дельфийский оракул, производил на вас тем более сильное впечатление, что ни одна складка на его лице не выдавала впечатления, какое производили на него вы, и не намекала на то, что он намеревался высказать вам.

– Вот как раз, – вдруг заговорил со мной маркиз так, словно моя судьба уже решена и когда я окончательно растерялся под его неподвижным взглядом, которого он не отводил от меня ни на миг, – у сына моего друга, *mutatis mutandis*<sup>1</sup>, то же, что и у вас. (Он говорил о том, что у нас одна и та же склонность, таким успокоительным тоном, как будто это была склонность не к литературе, а к ревматизму, и ему хотелось убедить меня, что от этого не умирают.) Он даже предпочел уйти с Орсейской набережной – а там стараниями его отца дорога была для него открыта – и, не обращая внимания на то, что о нем станут говорить, начал писать. И он не раскаялся. Два года назад он выпустил – он, конечно, гораздо старше вас – книгу о чувстве бесконечного, возникающем на западном берегу озера Виктория-Ньянца, а в этом году – не столь значительный труд, впрочем, написанный бойко, временами даже не без ехидства: об автоматическом оружии в болгарской армии, – эти два произведения создали ему имя. Он уже пробился, он далеко пойдет, – мне известно, что, хотя его кандидатура еще не выдвигалась, о нем поговаривали – в лестном для него смысле – в Академии моральных наук. Словом, нельзя сказать, чтобы он был уже в зените славы, но он, не щадя благородных усилий, завоевал

---

<sup>1</sup> С соответствующей поправкой (*лат.*).

себе прекрасное положение, и успех, который далеко не всегда выпадает на долю крикунов и выскочек, на долю смутьянов, которые мутят воду, чтобы ловить в ней рыбку, – успех увенчал его усилия.

Мой отец, возмечтав, что через несколько лет я буду академиком, преисполнился самых радужных надежд, и маркиз де Норпуа окончательно укрепил их в нем, когда после минутного колебания, как бы взвесив последствия своего поступка, протянул мне свою карточку и сказал: «Обратитесь к нему от моего имени – он может дать вам ценный совет», – приведя меня этим в такое смятение, словно он объявил мне, что завтра я поступаю на парусное судно юнгой.

Тетя Леония завещала мне вместе со всякой всячиной и громоздкой мебелью все свои наличные деньги, посмертно доказав этим, как она меня любила, о чем я не подозревал, пока она была жива. Впредь до моего совершеннолетия этим состоянием надлежало распоряжаться моему отцу, и он посоветовался с маркизом де Норпуа, как лучше его поместить. Маркиз рекомендовал бумаги, дающие небольшие проценты, но зато вполне надежные, а именно – английские консолидированные фонды и русский четырехпроцентный заем. «Прочнее этого ничего нельзя придумать, – добавил маркиз, – доход, правда, не очень велик, зато вы можете быть совершенно спокойны за свой капитал». Отец в общих чертах рассказал маркизу, какие он уже сделал приобретения. Маркиз де Норпуа улыбнулся едва уловимой поздравительной улыбкой: как все капиталисты, он завидовал любому состоянию, однако из деликатности считал необходимым приветствовать владельца чуть заметным знаком одобрения; сам он был колоссально богат, а поэтому считал хорошим тоном делать вид, что чьи-либо мелкие доходы представляются ему значительными, а в это время тешить себя отрадной и успокоительной мыслью, что он-то получает куда больше дохода. Все же маркиз не преминул поздравить моего отца с тем, что, заботясь о «приумножении» состояния, он обнаружил «такой непогрешимый, такой тонкий, такой изысканный вкус». Можно было подумать, что маркиз приписывает соотношению биржевых ценностей и даже самим этим ценностям нечто вроде художественных достоинств. Когда мой отец заговорил с маркизом де Норпуа об одной из таких ценностей, сравнительно новой и мало кому известной, маркиз, приняв вид человека, тоже читающего книги, которые, как вам казалось, никто, кроме вас, не читал, заметил: «Ну еще бы, я одно время с интересом следил за ее котировкой, – это было любопытно», – и улыбнулся улыбкой подписчика, вновь переживающего удовольствие, полученное от чтения романа, печатавшегося в журнале с продолжением. «Я бы на вашем месте подписался, как только объявят об очередной подписке. Это заманчиво – бумаги будут стоить соблазнительно дешево». Наименования некоторых старых бумаг, которые всегда легко спутать с названиями других акций, мой отец точно не помнил, а потому счел за благо выдвинуть ящик и показать их послу. Они очаровали меня; украшенные шпильями соборов и аллегорическими фигурами, они напоминали старые издания романтических, которые я когда-то просматривал. Все, относящееся к одному времени, имеет черты сходства; художники, иллюстрирующие поэмы, написанные в ту или иную эпоху, выполняют заказы и акционерных обществ. И ничто так живо не напоминало тома «Собора Парижской Богоматери» и произведения Жерара де Нерваля, висевшие на витрине бакалейной лавки в Комбре, как именная акция Водной компании в прямоугольной раскрашенной раме, которую поддерживают речные божества.

Склад моего ума вызывал у отца презрение, но это его презрение до такой степени смягчалось ласковостью, что в общем его отношение ко мне нельзя было назвать иначе как нерассуждающей снисходительностью. Вот почему он не колеблясь послал меня за коротким стихотворением в прозе, которое я сочинил еще в Комбре, возвратившись с прогулки. Я писал его с восторгом, и мне казалось, что мой восторг непременно передастся читателям. Однако маркиза де Норпуа оно, по-видимому, не покорило, потому что он вернул мне его молча.

Маме дела отца внушали благоговение, и она робко вошла, только чтобы спросить, можно ли накрывать на стол. Она не могла принять участие в разговоре и боялась прервать его. Тем

более что отец все время напоминал маркизу о важных мерах, которые они решили отстаивать на следующем заседании комиссии, и напоминал он тем необычным тоном, каким говорят между собой при посторонних – точно школьники – двое коллег, которых в силу служебного положения связывают общие воспоминания, куда всем прочим вход воспрещен, и когда коллеги предаются подобного рода воспоминаниям, то они приносят извинения тем, кто присутствует при их разговоре.

Полная свобода лицевых мускулов, которой достиг маркиз де Норпуа, давала ему возможность слушать, делая вид, что он не слышит. Отец в конце концов почувствовал себя неловко. «Я хотел бы заручиться поддержкой комиссии...» – после долгих предисловий сказал он маркизу де Норпуа. Тут из уст аристократа-виртуоза, до сих пор неподвижного, как ждущий своей очереди оркестрант, излетело с такой же быстротой, впрочем, произнесенное более резким тоном, как бы окончание начатой отцом фразы, только звучавшее в ином регистре: «... которую вы, конечно, созовете в самое ближайшее время, тем более что членов комиссии вы знаете лично, а сдвинуть их с места ничего не стоит». Само по себе это заключение не содержало в себе ничего потрясающего. Однако та неподвижность, которую до сих пор хранил маркиз, сообщала ему прозрачную ясность, ту почти вызывающую неожиданность, с какою молчащий рояль, когда ему пора вступать, отвечает виолончели в концерте Моцарта.

– Ну как, ты доволен спектаклем? – спросил меня отец, когда мы сели за стол: ему хотелось, чтобы я блеснул и чтобы маркиз де Норпуа оценил мой восторг. – Он только что видел Берма, – вы помните наш разговор? – обратившись к дипломату, спросил отец тоном, намекающим на что-то уже происшедшее, деловое и таинственное, как будто речь шла о заседании комиссии.

– Воображаю, в каком вы были восхищении, тем более что прежде вы ее, кажется, не видели. Ваш батюшка боялся, как бы эта затея вам не повредила: ведь вы, кажется, не очень крепки, не очень здоровы. Но я его переубедил. В наше время театры уже не те, что были хотя бы двадцать лет назад. Кресла довольно удобные, помещение проветривается, хотя до Германии и до Англии нам еще далеко, – они и в этом значительно опередили нас, как и во многом другом, я не видел Берма в «Федре», но говорят, что играет она чудесно. И вы, конечно, были ею очарованы?

Маркиз де Норпуа, будучи в тысячу раз умнее меня, составил себе, конечно, верное представление об игре Берма, чего не сумел сделать я, и сейчас он поделится со мной своим мнением; отвечая на его вопрос, я попрошу объяснить мне, и чем заключается прелесть ее игры, и тогда окажется, что я все-таки был прав, мечтая увидеть Берма. В моем распоряжении была одна минута – мне надлежало воспользоваться ею и спросить маркиза о самом существенном. Но в чем заключалось это существенное? Все свое внимание я сосредоточил на моих неясных впечатлениях, и, не помышляя о том, чтобы понравиться маркизу де Норпуа, а желая, чтобы он открыл мне вождеденную истину, и не пытаясь заменить недостававшие мне слова заученными фразами, я смешался и в конце концов, чтобы вытянуть из маркиза, чем же так хороша Берма, признался, что разочарован.

– Что ж ты уверяешь, – боясь, как бы моя нечуткость не произвела на маркиза де Норпуа неблагоприятного впечатления, воскликнул отец, – что ж ты уверяешь, будто не получил удовольствия, а между тем твоя бабушка рассказывала, что ты впитывал в себя каждое слово Берма, что ты пожирал ее глазами, что во всем зале только ты был таким зрителем?

– Ну конечно, я старался не пропустить ни одного ее слова, – мне хотелось понять, что же в ней такого замечательного. Понятно, она очень хороша...

– Если она очень хороша, то чего ж тебе еще нужно?

– Одна из главных причин успеха Берма, – обратившись к моей матери, чтобы втянуть ее в разговор и чтобы честно исполнить долг вежливости по отношению к хозяйке дома, заговорил маркиз де Норпуа, – это ее отменный вкус в выборе репертуара, – вот что всегда обес-

печивает ей подлинный прочный успех. Она редко выступает в посредственных пьесах. Вот видите: она взялась за роль Федры. Вкус сказывается у нее во всем: в туалетах, в игре. Она с блеском выступала в Англии и в Америке, и хотя она часто там гастролировала, а все же не заразилась вульгарностью, присущей не Джону Булю, – обвинять в вульгарности Англию, во всяком случае – Англию времен Виктории, было бы несправедливо, – а дяде Сэму. Берма никогда не переигрывает, не надсаживает грудь. А ее дивный голос, – он всегда ее выручает, и владеет она им, я бы сказал, как певица!

После того как представление кончилось, мой интерес к игре Берма все возрастал, ибо действительность уже не сковывала его и не ограничивала; но мне хотелось уяснить себе, чем этот интерес вызван; притом, пока Берма играла, он с одинаковой увлеченностью вбирал в себя все, что ее игра, нерасчленимая, как сама жизнь, давала моему зрению, моему слуху; мой интерес ничего не разобщал и не обособлял; вот почему он был бы счастлив, если б ему открылось его разумное начало в похвалах простоте артистки, ее тонкому вкусу; он всасывал в себя эти похвалы, брал над ними власть, как берет власть жизнерадостность пьяного над действиями соседа, которые чем-то умиляют его. «Верно, – думал я, – голос прелестный, никаких завываний, костюмы простые, какое благородство вкуса в том, что она выбрала «Федру»! Нет, я не разочарован!» Подали холодное мясо с морковью, уложенное нашим кухонным Микеланджело на огромные кристаллы желе, напоминавшие глыбы прозрачного кварца.

– У вас, сударыня, первоклассный повар, – заметил маркиз де Норпуа. – А это очень важно. За границей мне приходилось жить довольно широко, и я знаю, как трудно найти безупречного кухаря. У вас сегодня роскошное пиршество.

В самом деле: Франсуаза, воодушевленная честолюбивым желанием угодить почетному гостю обедом, в приготовлении которого она наконец-то столкнулась с трудностями, в преодолении коих она находила достойное применение для своих способностей, постаралась так, как она уже не старалась для нас, и вновь обрела свою неподражаемую комбрейскую сноровку.

– Вот чего вы не получите в ресторане, – я имею в виду перворазрядные рестораны: тушеное мясо с желе, которое не отзывало бы клеем, мясо, пропитавшееся запахом моркови, – это бесподобно! Можно еще? – спросил маркиз, сделав движение, показывавшее, что он хочет, чтобы ему подложили мяса. – Любопытно было бы испытать искусство вашего Вателя на кушанье совсем в другом роде, – например, как бы он справился с бефстроганов?

Чтобы обед был еще приятнее, маркиз де Норпуа, в свою очередь, угостил нас историями, коими он часто потчевал сослуживцев, и приводил то смешную фразу, сказанную политическим деятелем, за которым водилась эта слабость и у которого фразы получались длинные, состоявшие из лишенных связи образов, то краткое изречение дипломата, славившегося аттицизмом. Но, откровенно говоря, критерий, прилагавшийся маркизом к этим двум способам выражаться, резко отличался от того, который я применял к литературе. Множество оттенков ускользало от меня; я не улавливал особой разницы между словами, какие маркиз произносил, трясаясь от хохота, и теми, которыми он восхищался. Он принадлежал к числу людей, которые о моих любимых произведениях сказали бы так: «Значит, вы их понимаете? А я, признаться, не понимаю, я профан», – я же, со своей стороны, мог бы ответить ему тем же: я не отличал остроумия от глупости, красноречия от превыспренности, которые он обнаруживал в какой-нибудь реплике или речи, и так как он не приводил убедительных доказательств, почему вот это дурно, а вот это хорошо, то подобный род литературы представлялся мне таинственнее, непонятнее всякого иного. Одно лишь стало мне ясно, что в политике повторение общих мест – достоинство, а не недостаток. Когда маркиз де Норпуа пользовался выражениями, не сходившими с газетных столбцов, и произносил их значительно, чувствовалось, что они приобретают значительность только потому, что прибегает к ним он и что действенная их сила требует комментариев.

Моя мать возлагала большие надежды на салат из ананасов и трюфелей. Однако посол, задержав на этом кушанье пронизательный взгляд наблюдателя, отведал его, не выходя за пределы дипломатической скрытности и не выразив своего мнения. Мать настойчиво предлагала маркизу де Норпуа взять еще – он взял, но, вместо ожидаемого одобрения, сказал: «Я подчинюсь, сударыня, но только потому, что вами это самым настоящим образом декретировано».

– Мы читали в газетах, что вы имели продолжительную беседу с королем Феодосием, – обратившись к маркизу, сказал мой отец.

– Да, правда, у короля редкая память на лица, и, увидев меня в партере, он соблаговолил припомнить, что я имел честь несколько дней подряд встречаться с ним при Баварском дворе, когда он еще и не думал воссесть на восточный престол. (Вам известно, что этот престол был ему предложен европейским конгрессом, а он, прежде чем дать согласие, очень колебался: он полагал, что этот престол ниже его происхождения – с точки зрения геральдической, самого благородного во всей Европе.) Свитский генерал подошел ко мне, и я, разумеется, почел своим долгом исполнить желание его величества и поспешил засвидетельствовать ему свое почтение.

– Вы довольны результатами его пребывания?

– Чрезвычайно доволен! Можно было слегка опасаться, как столь юный монарх выйдет из затруднительного положения, да еще в таких щекотливых обстоятельствах. Я лично твердо верил в политический такт государя. Но должен сознаться, что он превзошел мои ожидания. Я получил сведения из самых достоверных источников, что гост, который он провозгласил в Елисейском дворце, от первого до последнего слова был сочинен им самим и по праву всюду возбудил интерес. Это был самый настоящий ход мастера, надо сознаться – довольно смелый, но эту его смелость вполне оправдывала сложившаяся обстановка. В дипломатических традициях есть, конечно, своя положительная сторона, но в настоящее время из-за них и его государство и наше жили в духоте, так что уже нечем было дышать. Ну так вот, один из способов напустить свежего воздуха – способ, который, вообще говоря, не рекомендуется, но который король Феодосий мог себе позволить, – это разбить окна. И король разбил окна так весело, что все пришли в восторг, и с такой точностью выражений, по которой сразу узнается порода просвещенных государей, а он принадлежит к ней по материнской линии. Он говорил о «сродстве душ», объединяющем его страну с Францией, и это выражение, хотя и не вошедшее в язык министерских чиновников, он употребил чрезвычайно удачно – в этом нет никакого сомнения. Как видите, литература бывает полезна даже в дипломатии, даже на троне, – обратившись ко мне, добавил маркиз. – Спору нет: это всем было давно известно, отношения между двумя державами были теперь прекрасные. Требовалось только заявить об этом во всеуслышание. Ждали слова, и оно было поразительно удачно выбрано – вы видели, какое оно произвело впечатление. Я приветствовал его от всей души.

– Ваш друг де Вогубер в течение ряда лет способствовал сближению обеих стран – теперь он наверное доволен.

– Тем более что его величество по своему обыкновению держал это от него в тайне. Впрочем, это было тайной для всех, начиная с министра иностранных дел, – насколько мне известно, министру это не пришлось по душе. Кому-то, кто с ним беседовал, он ответил вполне определенно и так громко, чтобы его слышали те, что находились рядом: «Меня не спросили и не предупредили», – этим он ясно дал понять, что снимает с себя всякую ответственность. По правде сказать, это событие наделало много шума, и я не поручусь, – с лукавой улыбкой добавил маркиз, – что некоторых моих коллег, строго придерживающихся линии наименьшего сопротивления, оно не вывело из равновесия. Что касается Вогубера, то вы же знаете, что он подвергался ожесточенным нападкам за его политику сближения с Францией, и он тяжело это переживал: это человек душевно ранимый, сердце у него золотое. Я это положительно утверждаю: хотя он моложе меня, много моложе, мы с ним близко знакомы, друзья с давних пор, я хорошо его знаю. Да кто его не знает? Кристальная душа. И это его единственный недостаток:

сердце дипломата не должно быть до такой степени прозрачным. Тем не менее идут разговоры о том, что его переводят в Рим, – это большое повышение, но и махина на него сваливается изрядная. Между нами говоря, я полагаю, что хотя Вогубер несколько не честолюбив, а все-таки он был бы очень доволен и ни в коем случае не стал бы просить, чтобы эта чаша его миновала. По всей вероятности, ему там будет очень хорошо; его прочтут в Консульту, и, по моему, он, с его художественными наклонностями, будет отлично выглядеть в рамке дворца Фарнезе и галереи Карраччи. Во всяком случае, я не думаю, чтобы он в ком-нибудь вызывал ненависть; но вокруг короля Феодосия образовалась целая камарилья, более или менее подвластная Вильгельмштрассе, являющаяся ее послушным орудием, и она всеми силами старалась подставить Вогуберу ножку. Вогубер столкнулся не только с кулуарными интригами, – на него посыпались оскорбления продажных бумагомарак, и потом-то они, как все подкупленные газетчики, первые запросили «аман», но долгое время без зазрения совести выдвигали против нашего представителя такие вздорные обвинения, какие способны предъявить только темные личности. Больше месяца дружки Вогубера танцевали вокруг него танец скальпа (маркиз де Норпуа сделал ударение на последнем слове). Но за битого двух небитых дают; Вогубер не оставил от этих оскорблений камня на камне, – еще тверже произнес де Норпуа и посмотрел таким грозным взглядом, что у нас кусок застрял в горле. – Есть хорошая арабская пословица: «Собаки лают – караван проходит». – Приведя эту пословицу, маркиз де Норпуа молча обвел нас глазами, чтобы полюбоваться произведенным впечатлением. Впечатление было сильное – мы знали арабскую пословицу. В этом году она заменила влиятельным лицам другую: «Кто сеет ветер, пожнет бурю», требовавшую отдыха, так как она была не столь неумолима и живуча, как: «работать на чужого дядю». Такого рода видным деятелям хватало познаний ненадолго, обычно года на три. Конечно, статьи маркиза де Норпуа в «Ревю» не нуждались в подобного рода украшениях, коими он любил уснащать их, – и без цитат читатель почувствовал бы, что автор – человек солидный и хорошо информированный. Это было лишнее украшение, – маркиз де Норпуа вполне мог бы ограничиться фразами, которые он, выбрав для них наиболее подходящее место, вставлял в свои статьи: «Сент-Джеймский кабинет один из первых зачуял опасность», или: «Крайне обеспокоенный Певческий мост тревожным взглядом следил за эгоистической, но ловкой политикой двуглавой монархии», или: «Монтечиторио забил тревогу», или, наконец: «...двойная игра, которую постоянно ведет Бельплац». По этим выражениям читатель непосвященный сразу узнавал и приветствовал старого дипломата. Но еще больше веса ему придавало и заставляло думать, что он человек в высшей степени образованный, умелое употребление цитат, которые ценились тогда особенно высоко: «Наладьте мне политику, и я налажу вам финансы», – как любил говорить барон Луи». (В те времена еще не вывезли с Востока: «Победа достается тому, кто вытерпит на четверть часа дольше, чем его противник», – как говорят японцы»..) Благодаря репутации высокообразованного человека, да еще к тому же настоящего гения интриги, надевающего на себя личину равнодушия, маркиз де Норпуа прошел в Академию моральных наук. А некоторые даже подумали, что ему место во Французской Академии, когда, стремясь доказать, что мы можем прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он решительно заявил в печати: «Пусть знают на Орсейской набережной, пусть теперь же восполнят пробел во всех учебниках географии, пусть с треском проваливают всякого, кто претендует на степень бакалавра, если он не скажет: «Все дороги ведут в Рим, но кто едет из Парижа в Лондон, тому не миновать Петербурга».

– Короче говоря, – продолжал де Норпуа, обращаясь к моему отцу, – на такой головокружительный успех он даже и не рассчитывал. Он ждал любезного тоста (после туч, сгущавшихся за последние годы, и это уже было бы отлично), но не больше. Некоторые из присутствовавших утверждали, что при чтении тоста невозможно себе представить, какое он произвел впечатление: так чудесно говорил и построил король свой тост – а ведь он славится красноречием, – так искусно подчеркивал он интонациями все тонкости. Мне передавали довольно любопыт-

ную подробность, лишней раз доказывающую, как много в короле Феодосии юношеского обаяния и как оно располагает к нему сердца. Меня уверяли, что именно при словах «сродство душ», а ведь они-то, в сущности говоря, и составили «гвоздь» речи и – вот увидите – долго еще будут комментироваться в министерствах, его величество, предчувствуя радость нашего посла, который воспримет эти слова как заслуженный венец своих усилий, можно сказать – своих мечтаний, короче говоря – как маршальский жезл, полуобернувшись к Вогуберу и, устремив на него пленительный взгляд, взгляд Эттингенов, выделил это столь уместное выражение: «сродство душ», эту настоящую находку, и произнес его таким тоном, который ни у кого не оставил сомнений, что король употребил его не случайно, что он вкладывал в него вполне определенный смысл. Насколько мне известно, Вогуберу нелегко было побороть волнение, и, должен сознаться, отчасти я его понимаю. Один вполне достойный доверия человек сообщил мне, что после обеда, в узком кругу, король даже подошел к Вогуберу и тихо спросил: «Вы довольны своим учеником, дорогой маркиз?»

– Нет никакого сомнения, – заключил де Норпуа, – что этот тост сделал для упрочения союза между двумя государствами, для «сродства их душ», по замечательному выражению Феодосия Второго, больше, чем двадцатилетние переговоры. Если хотите, это всего лишь слова, но вы же видите, как они понравились, как их подхватила вся европейская пресса, какой интерес они вызвали, как по-новому они прозвучали. К тому же они вполне в стиле государя. Понятно, я не поручусь вам, что государь каждый день находит такие алмазы. Но на речи, к которым он готовится, а чаще – на живые беседы он с помощью какого-нибудь меткого словца кладет отпечаток – чуть было не сказал: печать – своей личности. Меня трудно заподозрить в недоброжелательном отношении к королю, хотя я и враг всяких новшеств в этой области. В девятнадцати случаях из двадцати такие приемы опасны.

– Да, мне думается, что последняя телеграмма германского императора была не в вашем вкусе, – вставил мой отец.

Маркиз де Норпуа посмотрел на потолок, как бы говоря: «Ах, эта!»

– Прежде всего, это с его стороны неблагодарность. Это больше, чем преступление, – это промах, это, я бы сказал, сверхъестественная глупость! Впрочем, если только никто его не попридержит, человек, отстранивший Бисмарка, способен постепенно отойти и от бисмарковской политики, а это – прыжок в неизвестность.

– Мой муж говорил мне, что, может быть, как-нибудь летом вы увезете его в Испанию, – я была бы так за него рада!

– Да, да, этот соблазнительный проект меня очень прельщает. А вы, сударыня, уже решили, как вы проведете каникулы?

– Может быть, поеду с сыном в Бальбек – точно еще не знаю.

– Ах, Бальбек – чудное место, я там был несколько лет назад. Теперь там начинают строить премиленькие виллы. Я думаю, вы останетесь довольны. А скажите, пожалуйста, почему вы остановились именно на Бальбеке?

– Сыну очень хочется посмотреть тамошние церкви, особенно – церковь в самом Бальбеке. Я побаивалась, как бы утомительное путешествие, а главное – жизнь там не повредила его здоровью. Но я узнала, что в Бальбеке выстроили превосходную гостиницу, и он будет жить с полным комфортом, а это ему необходимо.

– Не забыть бы мне сказать про гостиницу одной даме – она непременно за это ухватится.

– Церковь в Бальбеке дивная, ведь правда? – спросил я, подавив в себе тоскливое чувство, вызванное сообщением, что Бальбек привлекателен своими премиленькими виллами.

– Да, церковь там неплохая, но она не выдерживает сравнения с такими отграниченными драгоценностями, как, например, Реймский собор, Шартрский собор или, на мой вкус, такая жемчужина, как Сент-Шапель в Париже.

– Но ведь бальбекская церковь частично романская?

– Да, она в романском стиле, а романский стиль чрезвычайно холоден и ни в чем не предвосхищает ни изящества, ни силы воображения готических зодчих, которые претворяют камень в кружево. Если уж вы все равно будете в Бальбеке, то в бальбекской церкви следует побывать – она довольно любопытна; зайдите туда в дождливый день, когда вам нечего будет делать, – осмотрите гробницу Турвиля.

– Вы были вчера на банкете в министерстве иностранных дел? – спросил маркиза мой отец. – Я не мог пойти.

– Нет, не был, – улыбаясь, ответил маркиз де Норпуа. – Откровенно говоря, я пожертвовал им для развлечения совершенно иного характера. Я ужинал у дамы, о которой вы, быть может, слышали, – у прелестной госпожи Сван.

Моя мать вздрогнула, но тут же превозмогла себя: отличаясь повышенной чувствительностью, она заранее беспокоилась за моего отца, а до него все доходило не сразу. Неприятности, случавшиеся с ним, причиняли боль сначала ей – так дурные вести, касающиеся Франции, раньше узнаются за границей. Однако ей было любопытно, кого принимают у себя Сваны, и она задала маркизу де Норпуа вопрос, с кем он там встретился.

– Да понимаете ли... по-моему, в этом доме бывают главным образом... мужчины. Там были женатые мужчины, но их жены в тот вечер плохо себя чувствовали и не пришли, – ответил посол, пряча лукавство под личиной добродушия и придавая своему лицу в то время, как он обводил нас взглядом, мягкость и скромность – придавая как будто бы с целью затушевать ехидство, а на самом деле для того, чтобы ловко подчеркнуть его.

– Справедливость требует заметить, – добавил маркиз, – что там бывают и женщины, но... принадлежащие скорее... как бы это точнее выразиться? к республиканскому свету, чем к обществу Свана. (Маркиз четко выговаривал в этой фамилии звук «в».) Как знать? Может быть, со временем у них будет политический или литературный салон. Впрочем, Сваны, кажется, довольны своим положением. По-моему, Сван это даже слишком явно старается показать. Ведь Сван такой тонкий человек, но на сей раз он меня удивил: надо быть несдержанным, лишенным вкуса, почти лишенным такта, чтобы, как он, перечислять тех, к кому он и его жена приглашены на следующей неделе, а между тем гордиться близостью с этими людьми нет никаких оснований. Он все повторял: «У нас нет ни одного свободного вечера», – как будто это для него великая честь и как будто он – форменный выскочка, а ведь его же выскочкой не назовешь! У Свана было много друзей и даже подруг, и я не стану в это углубляться, я не хочу быть нескромным, но все-таки позволю себе заметить, что если не все и даже не большинство, то, во всяком случае, одна из них, очень важная дама, быть может, не выказала бы особого упорства и сблизилась бы с госпожой Сван, а уж тогда, вероятно, за ней последовал бы не один баран из панургова стада. Но, насколько мне известно, Сван не сделал ни одной попытки в этом направлении. И потом еще этот пудинг Нессельроде! После такого лукуллова пиршества курс лечения в Карлсбаде мне вряд ли поможет. Вероятно, Сван почувствовал, что ему придется затратить слишком много усилий для преодоления препятствий. Его брак вызвал к себе недоброжелательное отношение – это несомненно. Поговаривали, будто Сван женился на богатой, но это дикое вранье. Словом, все это произвело неприятное впечатление. Притом у Свана есть тетка, баснословная богачка, занимающая отличное положение в обществе, а ее муж благодаря своему состоянию представляет собой могучую силу. Так вот, тетка Свана мало того что не пустила к себе госпожу Сван, – она повела самую настоящую кампанию за то, чтобы ее друзья и знакомые поступили точно так же. Это не значит, что все парижское высшее общество отвернулось от госпожи Сван... Нет! Конечно, нет! Да ведь и ее супруг за себя постоит. Как бы то ни было, непонятно зачем Сван, у которого столько знакомых в самом избранном кругу, заискивает перед обществом, мягко выражаясь, смешанным. Я давно знаю Свана, и, откровенно говоря, мне было и странно и забавно наблюдать, как человек, прекрасно воспитанный, принятый в лучших домах, горячо благодарит правителя канцелярии министра почт

за то, что он посетил их, и спрашивает, можно ли госпоже Сван навестить его жену. У меня такое впечатление, что Сван чувствует себя чужим в своем доме: это явно не его среда. И все-таки я не думаю, что Сван несчастлив. Правда, перед тем как им пожениться, она действовала некрасиво – она шла на прямой шантаж; стоило Свану в чем-нибудь отказать ей – и она лишала его встреч с дочерью. Бедный Сван, натура столь же утонченная, сколь и наивная, каждый раз уверял себя, что увоз дочери – простое совпадение, и не желал смотреть правде в глаза. Потом она постоянно закатывала ему сцены, и все были убеждены, что, когда она достигнет своей цели и женит его на себе, тут-то она и развернется вовсю и совместная их жизнь будет сущим адом. А вышло все наоборот! Многие хохочут до слез над тем, как Сван говорит о своей жене, делают из этого мишень для насмешек. Разумеется, никто не требовал, чтобы Сван, более или менее ясно представляя себе, что он... (помните известное выражение Мольера?) объявлял об этом *urbi et orbi*<sup>2</sup>; но когда он утверждает, что его жена – чудесная супруга, все находят, что это преувеличение. А ведь на самом деле это не так уж далеко от истины. Чудесная, понятное дело, на свой образец, который не все мужья одобрили бы, но, между нами говоря, я не могу допустить, чтобы Сван, который знает ее давно и которого за нос не проведешь, не раскусил ее; она к нему привязана, – это для меня несомненно. Я склонен думать, что она ветрена, да ведь и Сван времени не теряет, если верить злым языкам, а вы представляете себе, как сплетники прохаживаются на их счет. Но всеобщие опасения не оправдались: из чувства благодарности Свану за то, что он для нее сделал, она, по-видимому, стала, как ангел, кротка.

Эта перемена была, пожалуй, не столь чудодейственна, как она представлялась маркизу де Норпуа. Одетта не верила, что Сван в конце концов женится на ней; всякий раз, как она нарочно заводила разговор о том, что человек из высшего общества женился на своей любовнице, он хранил гробовое молчание; в лучшем случае, когда она прямо обращалась к нему с вопросом: «Так ты не находишь, что он поступил хорошо, что он поступил прекрасно по отношению к женщине, которая пожертвовала ему своей молодостью?» – он сухо отвечал: «А я не говорю, что это плохо, – каждый поступает по-своему». Одетта была даже готова к тому, что, как он сам это говорил ей под горячую руку, Сван порвет с ней; дело в том, что не так давно одна скульпторша ей сказала: «От мужчин всего можно ожидать – это такие хамы!» – и Одетта, потрясенная этим пессимистическим изречением, начала выдавать его за свое и при всяком удобном случае повторяла с убитым видом, как бы говорившим: «Я бы несколько не удивилась, если б это произошло, – такая уж моя доля». Вследствие этого утратило всякий смысл изречение оптимистическое, которым Одетта руководствовалась прежде: «Если мужчина вас любит, с ним можно делать все что угодно, – они же идиоты» – и которое выражалось у нее еще и в подмигиванье, каким обычно сопровождаются слова: «Не бойтесь – он не разобьет». До поры до времени Одетта тяжело переживала то, что ее подруги, вышедшие замуж за своих любовников, с которыми они жили меньше, чем Одетта со Сваном, и не имели от них детей, пользующиеся теперь известным уважением, получающие приглашение на балы в Елисейский дворец, могли думать о поведении Свана. Более глубокий сердцевед, чем маркиз де Норпуа, вне всякого сомнения догадался бы, что озлобило Одетту именно это чувство унижения и стыда, что она не родилась с адским характером, что это беда поправимая, и для него не составило бы труда предсказать то, что потом и произошло, а именно – что перемена в жизни, замужество, с почти сказочной быстротой прекратит вспышки Одетты, ежедневные и все-таки ей не свойственные. Удивительно было то удивление, какое вызвала у всех женитьба Свана на Одетте. Разумеется, лишь немногим дано постичь чисто субъективный характер явления, какое представляет собою любовь, постичь особый род творения – творения добавочной личности, носящей ту же фамилию, что и мы, и почти целиком слагающейся из элементов, добытых из нас самих. Вот почему лишь немногим представляются естественными те огромные

<sup>2</sup> Здесь: всем и каждому (*лат.*).

размеры, какие в конце концов принимает для нас человек, который рисуется им не таким, каков он на самом деле. Что же касается Одетты, то, при ее неспособности по достоинству оценить ум Свана, она, по крайней мере, запоминала названия его трудов, входила во все подробности его работы, так что фамилия Вермеера стала для нее не менее знакомой, чем фамилия ее портного; она до тонкости изучила черты Сванова характера, обычно не замечаемые или осмеиваемые посторонними, черты, дорогие сестре, возлюбленной, составляющим о них верное понятие; и мы держимся за эти черты, держимся даже за такие, которые нам больше всего хотелось бы исправить, оттого что у женщины в конце концов вырабатывается к ним снисходительная и дружественно-шутливая привычка, похожая на нашу собственную к ним привычку и на привычку наших родных, – так старинные связи приобретают некую долю силы и нежности семейных привязанностей. Наша связь с человеком освящается, когда он, осуждая нас за какой-нибудь недостаток, становится на нашу же точку зрения. Свообразием отличались не только черты характера Свана, но и его мышление, однако Одетте легче было уловить особенности его мышления, потому что своими корнями они все-таки уходили в его характер. Ей было жаль, что в Сване-писателе, в его напечатанных статьях этих черт оказывалось меньше, чем в его письмах или в устной речи, где он их рассыпал в избытке. Она советовала ему быть в своих писаниях как можно щедрее на них. Ей так хотелось, потому что именно эти черты она больше всего в нем любила, но поскольку она питала к ним особое пристрастие, потому что они были наиболее своеобразны, то, пожалуй, она была права, желая, чтобы они отчетливо проступали в его трудах. Кроме того, Одетта, быть может, надеялась, что они придадут его трудам живости, принесут ему наконец успех и благодаря этому ей удастся создать то, что у Вердюренов она научилась ставить выше всего: салон.

К числу тех, кому такой брак казался смешным и кто задавал себе вопрос: «Что подумает герцог Германтский, что скажет Бреоте, если я женюсь на мадемуазель де Монморанси?» – к числу тех, кто придерживался таких взглядов, двадцать лет назад принадлежал бы и Сван, Сван, который столько намучился, прежде чем попасть в Джокей-клуб, и мечтал о блестящей партии, которая, упрочив его положение, сделала бы из него одну из парижских знаменитостей. Однако образы, в которых такой брак рисуется заинтересованному лицу, требуют, как и всякие образы, пищи извне; иначе они поблекнут и расплывутся. Ваша самая пылкая мечта – унижить человека, оскорбившего вас. Но если вы переедете и никогда больше не услышите о нем, то кончится дело тем, что ваш враг утратит для вас всякое значение. Если вы за двадцать лет растеряли тех, из-за кого вы стремились попасть в Джокей-клуб или в Академию, то в перспективе стать членом какого-либо из этих объединений уже не будет для вас ничего соблазнительного. Словом, продолжительная связь, так же как и отъезд, болезнь, уход в религию, вытесняет прежние образы. Когда Сван женился на Одетте, то с его стороны это не было отречением от светского тщеславия, потому что Одетта уже давно, в духовном смысле этого слова, оторвала его от света. Если бы дело обстояло не так, то и его заслуга была бы больше. Именно потому, что позорные браки предполагают отказ от более или менее почетного положения ради душевного уюта, они вызывают у всех особенно глубокое уважение. (К позорным бракам, конечно, не относятся браки из-за денег, ибо не было еще такого случая, когда бы супруги, один из которых продался, в конце концов не были бы приняты в свете – хотя бы по традиции, насчитывающей великое множество примеров, и для того, чтобы иметь только одну мерку и одну колодку.) С другой стороны, Сван, натура художественная, а не извращенная, во всяком случае получил бы известное наслаждение, спариваясь, как при скрещении пород, которое производят менделисты и о котором повествуется в мифологии, с существом другой породы, с эрцгерцогиней или с кокоткой, вступая в союз с особой царской фамилии или в неравный брак. При мысли о женитьбе на Одетте Свана волновал, и совсем не из снобизма, только один человек во всем мире: герцогиня Германтская. Напротив, Одетту она беспокоила меньше всего – Одетта думала лишь о тех, кто находился непосредственно над ней, а в эмпи-

реи она не залетала. Когда же Сван думал об Одетте как о своей жене, он всегда представлял себе тот момент, когда он приведет ее, а главное – свою дочь, к принцессе де Лом, которая вскоре, из-за смерти своего свекра, стала герцогиней Германтской. Ему нравилось представлять себе жену и дочь не где-нибудь, а именно у герцогини, и он умилялся, придумывая, что герцогиня скажет о нем Одетте, что скажет Одетта герцогине Германтской, вызывая в воображении, как ласкова будет герцогиня с Жильбертой, как она станет баловать ее и как это польстит его отцовскому самолюбию. Он разыгрывал сам с собой сцену знакомства с такой точностью вымышленных подробностей, какую обнаруживают люди, рассчитывающие, на что бы они употребили выигрыш, сумму которого они загадали. Если некий образ, сопутствуя нашему решению, в известной мере обосновывает его, мы вправе сказать, что Сван женился на Одетте, чтобы познакомить ее и Жильберту – познакомить без свидетелей и, если возможно, так, чтобы никто никогда об этом не узнал, – с герцогиней Германтской. Из дальнейшего будет видно, что именно это единственное честолюбивое его желание, касавшееся светских знакомств его жены и дочери, так и осталось неосуществленным: на него было наложено строжайшее вето, и Сван умер, не предполагая, что герцогиня когда-нибудь с ними познакомится. Еще видно будет из дальнейшего, что герцогиня Германтская сблизилась с Одеттой и Жильбертой уже после смерти Свана. И, пожалуй, с его стороны было бы благоразумнее – если уж придавать значение таким пустякам – не представлять себе будущее с этой точки зрения, в чересчур мрачном свете, и не терять надежды, что чаемое сближение произойдет, когда его уже не станет и он не сможет этому порадоваться. Работа по установлению причинной связи в конце концов приводит ко всем достижимым целям, а значит, и к тем, которые представлялись наименее достижимыми, но только эта работа идет в иных случаях медленно, а мы еще замедляем ее своим нетерпением, которое, вместо того чтобы ускорить, тормозит ее, замедляем самым фактом нашего существования, и завершается она, когда обрывается наше стремление, а то и жизнь. Неужели Сван не знал этого по опыту и разве уже не было в его жизни, как предображения, того, что должно произойти после его кончины, предображения посмертного счастья: женитьбы на Одетте, которую он страстно любил, хотя она и не понравилась ему с первого взгляда, и на которой он женился, когда уже разлюбил ее, когда жившее в Сване существо, так безнадежно мечтавшее прожить всю жизнь с Одеттой, – когда это существо умерло?

Я заговорил о графе Парижском и спросил, не друг ли он Свана, – я боялся, что разговор примет иное направление.

– Совершенно верно, они друзья, – ответил маркиз де Норпуа, повернувшись ко мне и задерживая на моей скромной особе голубой взгляд, где, как в своей родной стихии, зыбились его огромная трудоспособность и его приспособляемость. – Ах да, – продолжал он, снова обращаясь к моему отцу, – надеюсь, это не будет с моей стороны проявлением неуважения к принцу (правда, лично мы с ним никак не связаны, – в моем, хотя и неофициальном, положении заводить с ним личные отношения мне было бы неудобно), если я сообщу вам один довольно любопытный случай: года четыре тому назад, самое позднее, в одной из стран Центральной Европы, на захолустной станции произошла неожиданная встреча принца с госпожой Сван. Разумеется, никто из приближенных его высочества не отважился спросить, понравилась ли она ему. Это было бы бестактно. Но когда в разговоре случайно упоминалось ее имя, то, по некоторым, если хотите, неуловимым и тем не менее верным признакам, его собеседники догадывались, что принцу хотелось бы, чтобы они подумали, что она произвела на него скорее благоприятное впечатление.

– А нельзя ли представить ее графу Парижскому? – спросил мой отец.

– Право, не знаю! За принцев никогда нельзя ручаться, – ответил маркиз де Норпуа. – Бывает и так, что самые из них кичливые, те, что особенно любят почести, в то же время, когда они находят нужным вознаградить чью-либо верность, меньше всего считаются с общественным мнением, даже если оно вполне справедливо. Так вот, не подлежит сомнению, что граф

Парижский очень высоко ценит преданность Свана, а помимо всего прочего, Сван – умнейший малый.

– Какое же впечатление сложилось у вас, господин посол? – отчасти из вежливости, отчасти из любопытства спросила моя мать.

Обычная сдержанность маркиза де Норпуа уступила место решительности знатока.

– Прекрасное! – ответил он.

Маркиз де Норпуа знал, что если человек игривым тоном заявляет о том, что он очарован женщиной, то это считается признаком в высшей степени остроумного собеседника, а потому он закатился смешком, от которого голубые глаза старого дипломата увлажнились, а испещренные красными жилками крылья его носа дрожали.

– Она просто обворожительна!

– А у них не ужинал писатель Бергот? – чтобы продолжить разговор о Сване, робко спросил я.

– Да, Бергот там был, – ответил маркиз де Норпуа, учтиво склонив голову в мою сторону: он как бы давал этим понять, что желает до конца быть любезным по отношению к моему отцу, которого он глубоко уважает, и потому снисходит даже к вопросам его сына, хотя этот мальчуган еще по возрасту не может рассчитывать на необыкновенную обходительность со стороны людей в возрасте маркиза. – А вы разве с ним знакомы? – спросил он, обратив на меня ясный взгляд, пронизательность которого восхищала Бисмарка.

– Мой сын с ним не знаком, но он им очень увлекается, – сказала моя мать.

– А знаете, – снова заговорил маркиз де Норпуа, и под влиянием его слов мною овладели более сильные сомнения в моем умственном развитии, нежели те, что одолевали меня обыкновенно, – овладели, как только я убедился, что то, что я возвел на недостижимую для меня высоту, то, что мне казалось выше всего на свете, для него стоит на самой низкой ступени, – я этого увлечения не разделяю. Бергот, по-моему, флейтист; впрочем, надо отдать ему справедливость, играет он приятно, хотя слишком манерно, жеманно. Вот и все его достоинства, а это не так уж много. Его творчество не мускулисто, в его произведениях нет, если можно так выразиться, костяка. В них нет – или почти нет – действия, а главное, совсем нет размаха. Фундамент его книг непрочен, – вернее, они лишены фундамента. Согласитесь, что в наше время, когда жизнь с каждым днем становится все сложнее и у нас почти не остается времени для чтения, когда карта Европы подверглась решительной перекройке и не сегодня завтра, быть может, подвергнется перекройке еще более значительной, когда всюду возникает столько новых, чреватых грозными событиями проблем, мы имеем право требовать от писателя чего-то большего, чем остроумие, которое заставляет нас забывать в велеречивых и бесполезных спорах по поводу чисто формальных достоинств о том, что с минуты на минуту нас могут захлестнуть две волны варварства – извне и изнутри. Я сознаю, что изрыгаю хулу на священную школу, которую эти господа именуют Искусством для Искусства, но в наши дни есть задачи поважнее, чем музыкальный принцип расположения слов. Я не спорю: в слоге Бергота есть что-то пленительное, но в общем все это очень вычурно, очень мелко и очень вяло. Теперь, когда я узнал, что вы явно переоцениваете Бергота, мне стали понятнее те несколько строк, которые вы мне только что показали и которых я предпочел бы не касаться, тем более что вы сами так прямо и сказали, что это детская мазня. (Я и правда так выразился, но мнение у меня было совсем другое.) Бог милостив, в особенности к грехам молодости. Да и не у вас одного они на совести, – многие в ваши годы мнили себя поэтами. Но в том, что вы мне показали, видно дурное влияние Бергота. Вряд ли вас удивит, если я скажу, что там нет ни одного из достоинств Бергота: книги Бергота – это настоящие произведения искусства, впрочем, крайне поверхностного, он – мастер стиля, о котором вы в ваши годы не можете иметь хотя бы смутное понятие. А вот тем же недостатком, что и он, вы грешите: вы, как и Бергот, заботитесь прежде всего не о смысле, а о том, чтобы подобрать звучные слова, – содержание у вас на втором плане.

Это все равно что ставить плуг перед волами. Даже у Бергота словесные побрякушки, ухищрения, напускание тумана – все это, по-моему, ни к чему. Автор устроил приятный для глаз фейерверк, и все кричат, что это шедевр. Шедевры не так часто встречаются! В активе у Бергота, в его, если можно так выразиться, багаже нет ни одного романа, отмеченного печатью истинного вдохновения, ни одной книги, которую хотелось бы поставить в заветный уголок своей библиотеки. Я не могу припомнить ни одной. Другое дело, что его творчество неизмеримо выше самого автора. Вот уж кто доказывает правоту одного умного человека, утверждавшего, что писатели не познаются по их книгам. Немыслимо представить себе человека, который до такой степени был бы не похож на свои произведения, более чванливого, более надутого, хуже воспитанного, чем Бергот. С одними он вульгарен, с другими говорит – точно книгу читает вслух, но только не свою, а очень скучную, чего, во всяком случае, про его книги не скажешь, – вот что такое Бергот. В голове у этого человека путаница, сумбур; таких, как он, наши предки называли краснобаями; его суждения производят на вас еще менее приятное впечатление от того, как он их высказывает. Не помню кто: то ли Ломени, то ли Сент-Бёв отмечают, что и у Виньи была та же отталкивающая черта. Но Бергот не написал ни «Сен-Мара», ни «Красной печати», а там есть просто хрестоматийные страницы.

Ошеломленный отзывом маркиза де Норпуа о моем отрывке, вспомнив, как трудно мне было что-нибудь написать или хотя бы о чем-нибудь серьезно подумать, я окончательно убедился, что я туп и не способен к литературе. В былое время весьма узкий круг моих впечатлений от Комбре и чтение Бергота действительно развивали во мне мечтательность, и я ожидал от нее многого. Но мое стихотворение в прозе как раз и представляло собой отражение тогдашней моей мечтательности; маркиз де Норпуа, вне всякого сомнения, это уловил и мгновенно угадал, что я – жертва чистейшего миража, пусть даже и дивного, сам же он на удочку не попался. Маркиз показал, какое я ничтожество (если посмотреть на меня со стороны, объективно, взглядом благожелательного и умнейшего знатока). Я был подавлен, уничтожен; мое сознание, подобно жидкости, объем которой зависит от сосуда, некогда расширялось до того, что могло заполнить собой необыкновенные способности гения, а теперь оно, убавившись, все целиком умещалось в узких пределах посредственности, назначенных ему и отведенных маркизом де Норпуа.

– Мое знакомство с Берготом, – обратившись к моему отцу, продолжал маркиз, – произошло при довольно-таки щекотливых обстоятельствах (это было даже отчасти пикантно). Несколько лет назад Бергот приехал в Вену, когда я был там послом, мне его представила княгиня Меттерних, он расписался и изъявил желание, чтобы я его пригласил. Его писания – это в известной мере (чтобы быть точным, скажем: в очень небольшой мере) гордость Франции – Франции, которую я представлял за границей, и поэтому я посмотрел бы сквозь пальцы на личную жизнь Бергота, хотя мне она и претит. Но путешествовал он не один и рассчитывал, что я приглашу также его спутницу. Я человек не такой уж строгой морали и, как холостяк, имел возможность чуть-чуть шире растворять двери посольства, чем если бы я был супругом и отцом семейства. Тем не менее я должен сознаться, что есть черта, за которой распушенность становится для меня нестерпимой и по контрасту с которой у меня вызывает еще большее отвращение тот учительский, – скажем прямо: тот проповеднический тон, каким Бергот рассуждает в своих книгах, состоящих из длиннейшего психологического анализа, откровенно говоря – довольно слабого, из тягостных раздумий, мучительных угрызений совести по пустякам, из празднословия (мы-то хорошо знаем, как дешево стоят такого рода проповеди), а между тем в своей личной жизни он проявляет полнейшую безответственность и цинизм. Словом, я уклонился от ответа, княгиня настаивала, но – безуспешно. Так что я не думаю, чтобы он питал ко мне особую приязнь и чтобы он был благодарен Свану за то, что Сван пригласил нас с ним в один и тот же вечер. Впрочем, он мог и попросить об этом Свана. С него все станется – ведь, в сущности, он же человек больной. В этом его единственное оправдание.

– А дочь госпожи Сван была на этом ужине? – спросил я маркиза де Норпуа, воспользовавшись моментом, когда мы переходили в гостиную и мне легче было скрыть волнение, чем если бы я неподвижно сидел за столом при ярком свете.

У маркиза де Норпуа появилось выражение, как у человека, силящегося что-то вспомнить.

– Девочка лет четырнадцати-пятнадцати? Да, да, я припоминаю, что перед ужином ее представили мне как дочь нашего амфитриона. Должен вам сказать, что я ее почти не видел – она рано ушла спать. А может быть, она ушла к подругам – я уж теперь не помню. Однако вы, как видно, имеете полное представление о семействе Свана.

– Я играю с мадемуазель Сван на Елисейских Полях. Она чудная девочка.

– Ах вот оно что, вот оно что! Я тоже нахожу, что она прелестная девочка. Но все-таки я, ни в коей мере не желая задеть ваше пылкое чувство, позволил бы себе заметить, что ей всегда будет далеко до матери.

– Мне больше нравится мадемуазель Сван, но я и от ее матери в восторге: я хожу в Булонский лес, только чтобы увидеть ее.

– Я им скажу – они обе будут крайне польщены.

Когда маркиз де Норпуа произносил эти слова, он, как и все, при ком я говорил, что Сван – умный человек, что его родные – почтенные биржевые маклеры, что у него прекрасная семья, все еще полагал, что я и о ком-нибудь другом буду с жаром говорить как об умном человеке, об его родных – как о почтенных биржевых маклерах, об его семье – как о прекрасной семье; это был тот момент, когда человек в здравом уме, разговаривающий с сумасшедшим, еще не успел заметить, что перед ним сумасшедший. Маркиз де Норпуа находил, что любоваться красивыми женщинами вполне естественно; он знал, что, когда кто-нибудь восхищается одной из них, принято делать вид, что подозреваешь этого человека, что он к ней неравнодушен, подшучивать над ним и предлагать ему свое содействие. Но, обещав поговорить обо мне с Жильбертой и ее матерью (что дало бы мне возможность, подобно олимпийскому богу, стать неуловимым, как ветер, или обратиться в старика, облик которого принимает Минерва, и невидимкой проникнуть в гостиную г-жи Сван, привлечь к себе ее внимание, занять ее мысли, вызвать у нее благодарность за мой восторг перед ней, добиться, чтобы она приняла меня за приятеля важной особы и предложила бывать у них, сделаться другом ее дома), эта важная особа, намеревавшаяся воспользоваться огромным влиянием, какое она имела на г-жу Сван, чтобы расположить ее в мою пользу, внезапно вызвала во мне прилив такой нежности, что я чуть не поцеловал белые, мягкие, сморщенные руки, которые маркиз де Норпуа как будто долго продержал в воде. Я даже сделал такое движение и решил, что оно осталось незамеченным. Да ведь нам и в самом деле трудно определить, что именно из наших речей и действий замечают окружающие; боясь переоценить себя и безмерно расширяя поле, где располагаются воспоминания других людей в течение всей их жизни, мы воображаем, будто все, что не является самым существенным в наших словах и движениях, не без труда проникает в сознание тех, с кем мы разговариваем, и, уж конечно, не удерживается в их памяти. Между прочим, на этом предположении основываются преступники, когда они задним числом подправляют свои показания, в надежде, что разноречивые их объяснения не сопоставит никто. И отнюдь не лишено вероятия, что если мы обратимся к тысячелетней истории человечества, то окажется, что и здесь точка зрения, согласно которой все на свете сохраняется, вернее точка зрения газетчика, согласно которой все обречено на забвение. В том же номере газеты, где моралист, принадлежащий к «цвету Парижа», восклицает по поводу какого-нибудь происшествия, какого-нибудь произведения искусства и, уж во всяком случае, по поводу певицы, пользующейся «минутной славой»: «Кто вспомнит об этом через десять лет?» – на третьей странице в отчетах о заседаниях Академии надписей часто упоминается о менее важном событии, о дошедшем до нас полностью посредственным стихотворении времен фараонов. Быть может, не совсем так обстоит в корот-

кой жизни отдельной личности. И все же, несколько лет спустя, в одном доме, где был в гостях маркиз де Норпуа и где я смотрел на него как на самую надежную опору, потому что он друг моего отца, человек снисходительный, ко всем нам благоволивший, да еще к тому же отличавшийся сдержанностью, которую он всосал с молоком матери и к которой его потом приучила профессия, мне рассказали, когда посол удалился, что он припомнил, как я однажды вечером «чуть было не поцеловал ему руку», и тут я не только покраснел как рак, – меня ошеломило, во-первых, то, что маркиз де Норпуа совсем иначе говорил обо мне, чем я думал, а во-вторых, меня ошеломило содержимое его памяти; благодаря его «длинному языку» передо мной неожиданно открылись соотношения между рассеянностью и собранностью, памятьливостью и забывчивостью, из коих слагается человеческое сознание; и я был так же потрясен, как в тот день, когда впервые прочел в книге Масперо, что точно известен список охотников, которых Ассурбанипал приглашал на облавы за тысячу лет до Рождества Христова.

– Ах, если вы исполните свое обещание, – воскликнул я после того, как маркиз де Норпуа объявил, что он передаст Жильберте и ее матери, что я восхищен ими, – если вы поговорите обо мне с госпожой Сван, – всей моей жизни не хватит, чтобы выразить вам благодарность, и моя жизнь будет принадлежать вам! Но дело в том, что я не знаком с госпожой Сван, я не был ей представлен.

Прибавил я это для очистки совести и чтобы не создать впечатления, будто я хвастаюсь несуществующим знакомством. Но, произнося эти слова, я почувствовал, что они – лишние: как только я начал изъяслять маркизу свою признательность – изъяслять с пылом, действовавшим на него охлаждающе, – я заметил, что по его лицу скользнуло выражение нерешительности и неудовольствия, а его опущенные, сузившиеся, скосившиеся глаза, напоминавшие убегающую линию одной из сторон геометрического тела, данного на рисунке в перспективе, смотрели на невидимого внутреннего собеседника так, как смотрят, когда не хотят, чтобы сказанное услышал другой собеседник, с которым только что шел разговор: в данном случае – я. Мне сразу стало ясно, что даже лютые мои враги, строя мне дьявольские козни, пожалуй, не придумали бы слов, которые могли бы так решительно повлиять на маркиза де Норпуа и заставить его отказаться от посредничества, а ведь мои слова еще слабо выражали охвативший меня порыв благодарности и, как я надеялся, должны были растрогать маркиза и вдохновить его на то, чтобы без особых усилий осчастливить меня. В самом деле: выслушав меня, маркиз де Норпуа, словно незнакомец, с которым мы только что, к обоюдному удовольствию, казалось, сошлись во мнениях о прохожих, производивших на нас обоих впечатление пошляков, и который, неожиданно показав, что нас разделяет непроходимая пропасть, ощупывает свой карман и небрежно прибавляет: «Жаль, что я не захватил револьвера, – я бы уложил всех до одного», – маркиз де Норпуа, знавший, что нет менее важной услуги, нет ничего проще, чем порекомендовать кого-либо г-же Сван и ввести его к ней в дом, и заметивший, что как раз для меня это чрезвычайно ценно и, следовательно, очень трудно, решил, что выраженное мною желание, как будто бы – естественное, скрывает заднюю мысль, подозрительный расчет, какую-то мою давнюю провинность, из-за которой никто, не желая доставить г-же Сван неприятность, за это не берется. И тут я понял, что маркиз никогда не исполнит своего обещания и что даже если он в течение ряда лет будет видеться с г-жой Сван ежедневно, то ни разу не заговорит с ней обо мне. Впрочем, спустя несколько дней он узнал у нее то, что я просил, и через моего отца передал мне наведенную справку. Однако он не счел нужным поставить г-жу Сван в известность, кто просил его навести эту справку. Так она и не узнала, что я знаком с маркизом де Норпуа и как я мечтал побывать у нее; и, пожалуй, это было для меня не такое уж большое несчастье. Дело в том, что второе из этих сообщений вряд ли намного усилило бы воздействие первого – воздействие, кстати сказать, сомнительное. Одетта не набрасывала на свой уклад жизни, на свое обиталище покров волнующей тайны, и бывавший у нее знакомый не представлялся ей неким сказочным существом, каким он казался мне, готовому бросить в окно Сванам камень, если

бы только я мог на нем написать, что я знаком с маркизом де Норпуа: я был уверен, что подобное послание, хотя и переданное столь невежливо, не восстановило бы против меня хозяйку дома, напротив – чрезвычайно возвысило бы меня в ее глазах. Но если бы даже я точно знал, что обещание, так и не исполненное маркизом де Норпуа, ни к чему не приведет, более того: повредит мне в глазах Сванов, у меня не хватило бы мужества, если б я уверился в готовности посла, отговорить его и отказаться от наслаждения, – как бы ни печальны были для меня его последствия, – ощутить, что хотя бы на миг мое имя и я сам вторглись в незнакомый мне дом и в неведомую мне жизнь Жильберты.

Когда маркиз де Норпуа ушел, отец стал просматривать вечернюю газету; я опять начал думать о Берма. Наслаждение, полученное мной от ее игры, нуждалось в подкреплении, ибо оно далеко не оправдало моих ожиданий; вот почему оно поглощало все, что способно было питать его, – например, те достоинства Берма, которые признал за ней маркиз де Норпуа и которые мое восприятие поглотило мгновенно, как поглощает воду выжженный солнцем луг. Но тут отец показал мне заметку в газете: «Представление «Федры» в театре, где собралась восторженно настроенная публика, среди которой находились выдающиеся артисты и критики, вылилось для г-жи Берма, игравшей роль Федры, в один из самых полных триумфов, когда-либо выпадавших ей на долю за все время ее блестящей артистической карьеры. У нас еще будет случай подробнее поговорить об этом спектакле, выросшем в настоящее театральное событие; пока ограничимся следующим: наиболее авторитетные ценители сошлись на том, что г-жа Берма дала совершенно новое толкование роли Федры – одного из самых прекрасных и совершенных созданий Расина – и что ее игра – это образец самого чистого и высокого искусства, каким нас порадовало наше время». Как только я усвоил это новое для меня выражение: «образец самого чистого и высокого искусства», оно прибавилось к неполному удовольствию, полученному мной в театре, оно послужило для него довеском, и в этом сочетании было нечто до того возбуждающее, что я воскликнул: «Какая великая артистка!» Конечно, можно подумать, что я был не вполне искренен. Но представим себе писателей, которые, оставшись неудовлетворенными только что написанным, читают славословие гению Шатобриана или думают о великом артисте – о таком, с каким они мечтали бы стать наравне, – напевают, к примеру, фразу Бетховена и сравнивают звучащую в ней печаль с той, какую они хотели выразить в своей прозе: они до такой степени проникаются настроением гения, что, возвращаясь мыслью к своим произведениям, пропитывают их этим настроением, и сейчас писатели смотрят уже на эти произведения по-другому и, поверив в то, что они не лишены достоинств, восклицают: «А все-таки...» – не отдавая себе отчета, что в утешительный для них итог входят воспоминания о дивных страницах Шатобриана, которые они считают как бы своими, но ведь теперь это уже не их страницы; вспомним столько мужчин, которые убеждены, что их любовницы им верны, хотя они прекрасно знают, что любовницы изменяют им направо и налево; вспомним, наконец, безутешных мужей, которые, потеряв любимых жен, словно художники, надеющиеся на то, что слава еще придет к ним, уповают на непредставимую жизнь в мире ином, или тех, кто, напротив, помышляя о совершенных ими грехах, которые им пришлось бы искупать после смерти, возлагают надежды на спасительное небытие; вспомним еще и о туристах, которые восхищаются общей картиной путешествия, забывая о том, что они все время скучали, ну а теперь ответим на вопрос: есть ли хоть одна из самых радостных мыслей, сосуществующих в глубине нашего мышления, которая сперва, как настоящий паразит, не требовала бы от другой, соседней мысли того, что составляет главную ее силу?

Моя мать, по-видимому, была не очень довольна, что отец перестал думать о моей «карьере». Вернее всего, она, заботясь прежде всего о том, чтобы правильный образ жизни укрепил мою нервную систему, огорчалась не столько моим отказом от дипломатического поприща, сколько моим увлечением литературой. «Оставь, пожалуйста! – воскликнул отец. – Прежде всего, человек должен любить свое дело. Ведь он уже не ребенок. Он прекрасно отдает

себе отчет, в чем его призвание; трудно предположить, что вкус у него изменится; он сам понимает, где он найдет свое счастье». Нашел бы я свое счастье или не нашел, свободу выбора, предоставлявшуюся мне отцом, я в тот вечер воспринимал болезненно. Когда отец бывал неожиданно ласков со мной, мне хотелось поцеловать его в румяные щеки, над бородой, и не исполнял я свое желание только из боязни, что это может ему не понравиться. Сегодня, подобно автору, которого пугает мысль, что плоды его воображения, не имевшие в его глазах большой ценности, так как он не отделял их от себя, обязывают издателя выбирать бумагу и шрифт, пожалуй, чересчур для них красивые, я задавал себе вопрос, выйдет ли что-нибудь из моей страсти к сочинительству и не напрасно ли так много делает для меня отец. А его слова, что вкус у меня не изменится и что поэтому я найду свое счастье, заронили в мою душу два мучительных сомнения. Первое заключалось в том, что (ведь тогда я смотрел на каждый день как на канун моей еще не распутившейся жизни, которая расцветет только завтра утром) бытие мое уже началось и последующее будет мало чем отличаться от предшествовавшего. Второе сомнение, в сущности лишь по-иному выражавшееся, заключалось в том, что я не нахожусь вне Времени, что я подчинен его законам, так же как герои романов, которые именно поэтому наводили на меня такую тоску, когда я читал про них в Комбре, сидя в шалашике из ивовых прутьев. Теоретически мы знаем, что земля вертится, но на практике мы этого не замечаем; почва, по которой мы ступаем, представляется нам неподвижной, и мы чувствуем себя уверенно. Так же обстоит и со Временем. И чтобы дать почувствовать его бег, романисты, бешено ускоряя движение часовой стрелки, заставляют читателя в течение двух минут перескакивать через десять, через двадцать, через тридцать лет. В начале страницы мы расстаемся с полным надежд любовником, а в конце следующей мы вновь встречаемся с ним, когда он, восьмидесятилетний, все позабывший старик, через силу совершает свою ежедневную прогулку по двору богадельни и плохо понимает, о чем его спрашивают. Сказав обо мне: «Он уже не ребенок, его вкус не изменится», и так далее, отец внезапно показал меня самому себе во Времени, и мне стало так тоскливо, как будто я – хотя еще и не впавший в детство обитатель богадельни, но, во всяком случае, герой, о котором автор равнодушным тоном – а равнодушный тон есть самый безжалостный тон – сообщает в конце книги: «Из деревни он выезжал все реже и реже. В конце концов он поселился там навсегда», и так далее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.